

Светлана Бестужева-Лада

# *Случаи-то всякие бывают*

Сборник повестей



# **Светлана Игоревна Бестужева-Лада**

## **Случаи-то всякие бывают**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=18401064](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18401064)*

*ISBN 9785447474348*

### **Аннотация**

Сборник повестей о невероятных событиях в жизни самых обыкновенных людей. Как говорится, «ничто не предвещало». И вдруг начинается такое... Хорошо, если хорошо заканчивается.

# Содержание

Проклятая квартира	5
Глава первая. Наследники и подселенцы	5
Глава вторая. До и после детства	18
Глава третья. Каждой коммуналке – своего сумасшедшего	31
Глава четвертая. Нехорошая квартира	44
Глава пятая. Перемены, перемены...	57
Глава шестая. Герой нашего времени	70
Глава седьмая. Раз детектив, два детектив	83
Конец ознакомительного фрагмента.	95

# **Случаи-то всякие бывают**

## **Сборник повестей**

**Светлана Бестужева-Лада**

© Светлана Бестужева-Лада, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# **Проклятая квартира**

## **Глава первая.**

### **Наследники и подселенцы**

История, которую я хочу вам рассказать, началась давным-давно, когда москвичей еще не испортил квартирный вопрос, а в центре столицы находились не офисы и фирмы, а жилые дома: одно-, двухэтажные особняки и четырех-пятиэтажные «высотки», так называемые доходные дома. Такой четырехэтажный дом, построенный в самом начале нашего века, стоит в одном из арбатских переулков – Чистом, который выходит на улицу Пречистенка (в советское время – Кропоткинскую). Дом, в общем-то, ничем не примечательный, поскольку никто из революционных деятелей и даже крупных ученых или там архитекторов в нем не жилал. Поэтому мемориальной доски нет и теперь уже, конечно, не будет. А жаль.

Ибо в этом доме, в бельэтаже (по-современному – на втором этаже) до прошлого года находилась квартира, которую в свое время обессмертил Михаил Булгаков в повести «Собачье сердце». Легенда гласит: где-то в середине 20-х годов писатель пришел в гости к каким-то своим родственникам

в эту самую квартиру. И она произвела на него такое впечатление своей планировкой и размерами, что Мастер поселил в ней одного из своих литературных героев – профессора Преображенского, который превратил собаку в человека и обратно. А еще профессор успешно отбивался от притязаний «жилтоварищества», пытавшегося превратить его «отдельную семикомнатную» в коммунальную...

Настоящая история квартиры куда более драматична, хотя обходилось все без чудесных превращений и прочих бесовских штук, от которых ум за разум заходит. До пятидесятых годов, то есть почти тридцать лет, квартира «выбирала» себе жильцов. Похоже было на конкурсный отбор в труппу, призванную сыграть в стенах оной квартиры коммунальную драму: жестокую, нелепую, сентиментальную, временами поднимавшуюся до трагедии, а временами смахивавшую на балаган. Но – все по порядку.

\*\*\*

Я, Регина Белосельская, оказалась кем-то вроде заведующей литературной частью этого «театра». Многие события происходили при мне, даже, можно сказать, на моих глазах. О многих мне рассказывали соседи по квартире. Кое о чем догадалась самостоятельно. Благо времени на размышление у меня хватает. И все услышанное, увиденное, обдуманное я едва ли не с семнадцати лет приучилась записывать в дневник. Я не графоманка, нет, просто для меня эти записи долгое время были одной из форм самовыражения. А кроме то-

го, склоки, дразги и драмы лично меня по ряду причин не задевали. Ну, не по ряду – по одной-единственной причине, но об этом чуть позже. А для начала могу лишь сказать, что достаточно объективно отношусь почти ко всем своим соседям – и к ныне здравствующим, и уже покойным.

Отца за год до моего рождения, в апреле 1954 года, перевели из Воронежа в Москву. Мама говорила, что в тамошнем гарнизоне им все завидовали. Как же, столица, не провинциальное захолустье! Театры, концерты, магазины, тряпки... Только маме моей не до того было: она работала. И никак не могла привыкнуть к коммунальному житью-бытию первопрестольной после «провинциальной глуши». Там, в Воронежском гарнизоне, отцу, подполковнику инженерных войск, полагалась отдельная двухкомнатная квартира в двухэтажном особнячке: таком, какие во множестве понастроили после войны пленные немцы. В той квартирке все было крохотное, но – свое.

А здесь на одной кухне, громадной, метров тридцать, не меньше, – четыре газовые плиты и восемь столов. И очередь к единственной раковине с холодной водой. По утрам и вечерам – хвост в туалет и в ванную. Это уже потом, когда я подросла, в квартире стало поменьше народу. А в пятидесятых годах...

Хотя, слышала от соседей, до войны еще «веселее» было. Началось все с того, что в двадцатых годах изначальных хозяев квартиры, родственников Булгакова, разумеет-

ся, «уплотнили». Сам хозяин, присяжный поверенный Степан Иванович Лоскутов, к счастью для себя, этого не увидел: скончался от удара на втором году революции, оставив вдову и двух дочерей без средств к существованию. Во внезапное исчезновение многолетних сбережений Степана Ивановича долго не могли поверить не только «компетентные органы», несколько раз устраивавшие обыск в квартире, но и убитые горем домочадцы. Деньги, по тем временам немалые, однако, пропали бесследно. А вдове и двум дочерям удалось сохранить за собой три комнаты и вообще выжить только благодаря своей бывшей прислуге Фросе – Евфросинье Прохоровне Ивановой.

Фрося, устроившись посудомойкой в общепитовской столовой, кормила «барыню» и «барышень», совершенно не приспособленных к жизни вообще, а к наступившей тем более. Она держала в страхе «товарищей-подселенцев», непрестанно сменявших друг друга в трех остальных комнатах. И именно она после смерти «барыни» заменила сестрам Лоскутовым мать. Хотя, собственно, тогда «барышни» уже давно вышли из отроческого возраста: старшей, Анне, было сорок, младшей, Марии, тридцать пять. Обе были «совслужащими», но все, на что их хватало, – приносить домой крохотное жалованье. Остальным занималась Фрося, по какому-то одной ей ведомым причинам не пожелавшая «устроить личную жизнь», то есть выходить замуж.

И вдруг все резко переменилось В один прекрасный

день Анна вдруг привела домой молодого представительного мужчину и объявила: «Это мой муж». В середине 30-х годов это было несложно: дошли до ближайшего загса, расписались – и, пожалуйста, создана новая ячейка общества. Правда, от сорокадвухлетней старой девы никто уже ничего подобного не ожидал. Но ведь сердцу, как известно, не прикажешь. Да и супруг, лет на пятнадцать ее моложе, вполне мог полюбить сухопарую, сутулую, с жидким «кукишем» на затылке, очкастую библиотечаршу. Ничего сверхъестественного в этом не было, коль скоро невеста обладала бесценным по тем временам приданым – шестнадцатиметровой комнатой в центре Москвы.

Многомудрая Фрося предпочла промолчать и не вмешиваться. Зато сестры разругались вдрызг. Мария пыталась объяснить Анне легкомысленность такого поступка. Познакомиться с молодым провинциалом и за неделю настолько потерять голову, чтобы не только расписаться с ним, но и прописать у себя...

– Неужели ты не понимаешь, что нужна этому типу только как приложение к жилплощади?! – кричала Маша прямо в присутствии новоявленного зятя. – Он ведь выкинет тебя из комнаты и глазом не моргнет. Куда ты тогда денешься, дура несчастная?!

– Не твоя печаль! – отрезала Анна. – К тебе не попрошусь, не беспокойся. Просто ты мне завидуешь...

Завидовать, однако, было нечему. Семейная жизнь у Ан-

ны явно не складывалась. Супруг ее, Яков Петрович Романов, правда, не бил и жену не бил. Но и внимания на нее не обращал. Мог неделями не появляться дома, а мог заявиться совершенно неожиданно и устроить скандал за невкусную еду, неубранную комнату и вообще, как говорится, «на ровном месте». А спустя полгода после свадьбы Анна Степановна, вернувшись со службы, обнаружила в супружеской постели не только мужа, но и довольно смазливую девицу лет двадцати, не больше.

Последовавшая за этим сцена была ужасна. Нет, не криками или, сохрани Господи, рукоприкладством. Анна Степановна в принципе была, что называется, «овцой» и постоять за себя не умела. Ужасно было то, что Яков Петрович спокойно сообщил: они уже неделю как состоят в разводе. И он вправе жить так, как ему заблагорассудится. Если это Анну Степановну не устраивает, пусть ищет размен. Ему лично она не мешает, а ночевать может на раскладушке, за ширмой.

Три дня спустя Фросе, вообще-то не жаловавшейся на плохой сон, слышались глубокой ночью какие-то стоны на кухне. Когда она вышла из своей комнатенки и зажгла электричество, то в тусклом свете 15-свечовой лампочки увидела Анну Степановну, корчившуюся в углу, перед дверью на черный ход. На истошные Фросины вопли сбегалась вся квартира, но ни сестра, ни соседи, ни вызванная карета «скорой помощи» ничем помочь не могли. Анна Степановна отравилась крысиным ядом, и причина ее самоубий-

ства была ясна абсолютно всем.

Тем не менее Яков Петрович отделался лишь легким испугом. С покойной он официально состоял в разводе, поэтому не нес никакой ответственности за то, что спокойно-му разделу-размену жилплощади та предпочла мучительную смерть. И на угрозу Маши, Марии Степановны, младшей сестры: «Ну, смотри, Яков, тебе это даром не пройдет!» – лишь пожал плечами. Но, как оказалось, кое-какие выводы для себя сделал.

Комнаты, которые занимали сестры, бывшую спальню и бывшую детскую, соединяла общая дверь. После замужества Анны дверь, естественно, заперли, а со стороны «молодых» задрапировали каким-то ковром. Ключ же был только у Анны Степановны, поскольку инициатива полного размежевания с сестрой исходила от нее. Маша успела забыть о злополучной двери, поэтому ночной визит бывшего зятя застал ее врасплох. Кричать, сопротивляться было стыдно, хотя расставаться с невинностью в тридцать восемь лет – не самое приятное занятие для женщины. А Яков Петрович, уходя, посулил:

– Проболтаешься – посажу. Скажу, что ты фамильные драгоценности прячешь, вместо того чтобы государству нашему сдать. Поняла?

Шел страшный, 1937-й год. Так что Маша прекрасно поняла, что если захочет, непременно посадит. Тем более что доля правды в его словах была. Небольшие фамильные дра-

гоценности мать-покойница действительно куда-то запрятала. Но умерла так внезапно, что не успела показать дочерям тайник. А последующее уплотнение квартиры сделало поиски невозможными. В том же, что во время обыска тайник безусловно найдут, Маша не сомневалась...

Несколько недель терпела она периодические ночные визиты Якова Петровича. Тому, по-видимому, доставляло какое-то садистское удовольствие издеваться над безответной и беспомощной женщиной. А через два месяца Маша поняла, что беременна.

Если кто не знает или забыл, напомним: аборт в Стране Советов были официально запрещены с 1936 года. За аборт же криминальный женщина получала срок: три года тюремного заключения. Это считалось уголовным преступлением, предусмотренным статьей 140 «б». В просторечье статью так и называли – «букашка», и о ней прекрасно знала каждая совгражданочка.

То ли от безысходности, то ли от неутоленной жажды мести за все, что Яков Романов сделал с ее сестрой и с ней самой, Маша пошла на поступок, о котором совсем недавно и помыслить не могла. Она написала донос на Якова Петровича «куда следует». Наверное, написала убедительно, поскольку через какое-то время обитатели квартиры были разбужены среди ночи повелительным звонком в дверь. **Кто мог так звонить, было ясно.**

Но одна Маша знала, **за кем** пришли. Остальные могли

только гадать и с одинаково бледными, неживыми лицами застыли у дверей своих комнат. Прийти могли за кем угодно. Открыла входную дверь, конечно же, Фрося, по привычке клявшая вполголоса «бессовестных паразитов, которые шляются по ночам и не дают людям спать». По привычке потому, что за три года раза четыре звонили вот так, ночью, в их квартиру. Да и не только в их. На Арбате доживало в переулочках в домиках и в многоэтажных домах немало «осколков» прошлого, которые власть методически вычищала из «исторического центра сердца нашей Родины». А на их место приезжали новые люди. Кто – ненадолго, а кто – навсегда.

Итак, вошли трое в форме и дворник Григорий – бесшумный понятой. И спросили гражданина Романова Якова Петровича. После чего не то стон, не то вздох глубочайшего облегчения пронесся по квартире, и все остальные двери бесшумно и быстро закрылись изнутри. Темнота воцарилась за ними, темнота и тишина. Хотя никто, разумеется, не спал.

Два часа спустя гражданина Романова увели, а на дверь его комнаты повесили сургучную печать. Как только хлопнула входная дверь, Маша кинулась к Фросе.

– Фросенька, милая, что же теперь будет? Ведь это я его...

Всякого насмотрелась Фрося за тридцать шесть лет, проведенных в семье Лоскутовых, но тут даже она, многоопытная Евфросинья Прохоровна, была потрясена. Настолько, что забыла, какая власть на дворе, и обратилась к Маше по-

старорежимному:

– Что же вы барышня, дите малое? Да кричать надо было на всю Пречистенку, рожу ему, подлецу, исцарапать, нос расквасить! Стыдно ей, вишь, было. А сейчас не стыдно? Куда одна с дитем? Лучше б вы на этого кобеля в суд подали, на алименты. А теперь что? Да еще неровен час, он вас за собой потянет, подлец этакий.

– Но ведь я действительно не знаю, куда мама драгоценности спрятала.

– И я не знаю. Но это – дело десятое. А сейчас вам нужно о себе подумать. Поезжайте-ка вы в деревню, к моей сеструхе. Денег немного наберем, а там и копейка – капитал. Бог даст, родите спокойно, запишете ребеночка в сельсовете, никто ничего и знать не будет. А как все стихнет – вернетесь.

Маша послушалась и как-то незаметно для соседей исчезла из квартиры. Фрося же открыто перебралась в ее комнату. Собственно, она никого и не интересовала: после ареста Якова Романова еще два раза приходили ночью в «окаянную квартиру», еще две двери украсились печатями. А потом появился какой-то неприметный, словно бы линиялый тип и начал задавать вопросы: где, мол, находится Мария Степановна Лоскутова и отчего не сдала свою комнату. Евфросинья Прохоровна отвечала так, как испокон веков отвечали на подобные вопросы люди на Руси:

– Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. Нужна комната – так их еще три штуки опечатанных, выбирайте лю-

бую. А мое дело маленькое, мне не докладывают.

Выбирать комнату, однако, посетитель не стал и ушел, предупредив на прощание о том, что «молчание — золото». Из чего Евфросинья Прохоровна сделала свои выводы.

Всю ночь после этого в комнате Маши шла какая-то возня, стук, иногда даже грохот. Но соседние комнаты были пусты, а капитальные стены хорошо гасили звуки. Наутро же Фрося отправилась к дворнику Григорию, с которым ее связывала едва ли не сорокалетняя дружба. К тому же Фрося осталась единственной из прежних, дореволюционных жильцов дома. Да еще и такой, которая не брезговала «покалякать» с дворником по душам и вспомнить добрые старые времена.

Они вдвоем наглухо замуровали дверь между комнатами сестер. Конечно, Григорий заметил, что из опечатанной снаружи комнаты покойницы Анны в комнату Маши перекочевала почти вся мебель. Но промолчал и только понимающе ухмыльнулся. Оно и понятно: комнату не сегодня-завтра займут чужие люди, а вещей, конечно, жалко. Да еще подивился (тоже про себя), как это Фросе удалось в одиночку перетаскать тяжелую, старинную мебель красного дерева. Вот уж действительно — охота пуще неволи.

Новых жильцов, однако, подселять не спешили. Пусто и тихо стало в квартире, за которой как-то исподволь укрепилась слава «недоброй»...

В конце июня 1941 года в квартиру позвонили. Евфроси-

ня Прохоровна открыла дверь – и ахнула. На пороге стояла Маша, похудевшая, побледневшая. А рядом с ней – малыш-ка, похожая на куколку.

– Ну, здравствуй, Фросенька, – сказала Маша. – Вот мы и вернулись. Это моя дочка, Оленька, ей скоро три годика будет. А больше ничего хорошего тебе сказать не могу. Выбрались мы из деревни чудом, а сестра твоя старшая со всей семьей... Война.

\*\*\*

Все это я узнала от бабы Фроси постепенно. Она вообще была не слишком разговорчивой. Кое о чем рассказывала мне и Мария Степановна, баба Маня. Оленьку я не знала: она погибла вскоре после моего рождения. Но это уже другая история из другого времени.

– Баба Фрося, – приставала я, – а чего ты все вздыхаешь: «Раньше-то лучше жили, раньше-то лучше было...»? Тебя же революция от эксплуататоров освободила, комнату тебе дала...

– Комната у меня и так была. При кухне, где сейчас кладовку устроили. И в квартире, кроме меня, четверо жили, а не сорок четыре.

– А баба Маня богатая была, да?

– Глупая ты все-таки, Регина. Богатые в особняках да дворцах жили. И вообще, спроси лучше у Лидии Эдуардовны. Она образованная, не мне чета. Да еще баронесса фон Кнорре.

Да-да, в нашей квартире жильцы в конце концов подобрались по принципу «каждой твари – по паре». Кроме баронессы, была семья рабочего с Дорогомиловского завода, полусумасшедшая вдова репрессированного военного, еврейская семья с сыном-диссидентом и дочерью-эмигранткой. Баба Маня с внучкой Ириной, моей ровесницей, молочной сестрой и единственной подругой. Ну, и мои родители со мною, долгожданным, единственным ребенком, наследной принцессой (Регина – значит «царица»), получившей в конце концов свой «трон»... Нет, об этом позже. В общем, веселее, чем в нашей коммуналке, было, наверное, только в Ноевом ковчеге. Хотя... У Ноя не было ни алкоголиков, ни анти-семитов. Да и перспектив у обитателей нашего «ковчеха» не было никаких. В том числе и получить отдельную квартиру – слишком большие комнаты раньше были. С жилплощадью таких размеров в «очередники» не записывали.

## Глава вторая. До и после детства

Помимо всех «радостей» перенаселенной квартиры, мою маму угнетало еще и то, что оба окна большой, двадцатиметровой, комнаты выходили в узкий переулок, на стену соседнего дома – Главного пожарного управления. Солнце в окно не заглядывало никогда. Впоследствии и я «оценила» это качество: было зябко, сыро, и только зимой, когда включали центральное отопление, жизнь становилась сносной...

Единственное, что примирило маму с Москвой, – мое рождение. До этого у них с отцом детей не было. Пятнадцать лет прожили, папа всю войну прошел почти невредимым (легкие ранения не в счет), десять лет потом ждали, ждали... И вот, наконец! Трое суток мама мучилась – и родила меня как раз к началу общенародной демонстрации в День международной солидарности трудящихся. То есть 1 мая. В детстве я полагала, что красивые флаги, музыка и вообще праздник – это в честь моего дня рождения. Когда объяснили, наконец, что не совсем так, долго плакала.

В тот же день и в том же роддоме, знаменитом, имени Грауэрмана, на Арбате, родилась Ирина. Внучка Марии Степановны Лоскутовой, нашей соседки по квартире. А вот семнадцатилетняя Ольга, Иринана мама, умерла через несколько дней после родов. Врачи сказали: слишком молодая, неокрепший организм, тяжелое детство. У Ольги оно

действительно было тяжелое – военное: родилась в 1938 году. Да и юность, судя по всему, нелегкая. Мать воспитывала ее в такой строгости, что даже Евфросинья Прохоровна, баба Фрося, иной раз сердилась:

– Маша, погубишь девку. Для нее чужое слово – закон, она за себя постоять не сможет.

– Береженого Бог бережет, – огрызалась Мария Степановна. – Может, хоть она свое счастье найдет.

Не нашла... Как в воду смотрела баба Фрося: кто-то из «крутых», как сказали бы сейчас, парней с Арбата воспользовался Ольгиной безответностью и безропотностью. Поняла она, что дело неладно, лишь через четыре месяца, когда поздно было принимать меры. Да хоть бы и не поздно: аборт официально разрешили делать лишь через год после моего рождения. А мы с Ириной родились в 1955 году.

И росли мы как сестры-близняшки. О декретных отпусках на год, а тем более на три тогда никто слыхом не слышивал. Два месяца после родов – и на работу, если не хочешь потерять место. А маме повезло, она работала машинисткой в Генштабе. Пятнадцать минут ходьбы от дома. Так что со мной и с Иркой нянчилась баба Фрося, а моя мама оставляла для нас сцеженное молоко в бутылочках, благо его на двоих хватало и еще оставалось.

А потом у нас появилась... гувернантка. Соседка наша, Лидия Эдуардовна, пенсию получала по старости – копейки, лишь бы с голоду не помереть. До пятьдесят шестого го-

да она еще каким-то чудом ухитрялась подрабатывать чтением лекций. Учила хорошим манерам и этикету студентов Института международных отношений. А потом понемногу стали возвращаться эмигранты из Харбина. И как-то вытеснили ее. Вот моя мама и придумала: пусть Лидия Эдуардовна за мной присматривает и одновременно учит иностранным языкам и хорошим манерам. Не бесплатно, разумеется. Папа у меня по тем временам достаточно зарабатывал.

Наверное, такого воспитания, как мы с Иркой (а без нее я вообще ничему учиться не желала), никто в нашей стране тогда не получал. Уже и Лидии Эдуардовны нет на свете, а я и в инвалидном кресле сижу прямо, не разваливаюсь, и хлеб не откусываю, а отламываю, и владею французским и немецким абсолютно свободно. Английским – чуть хуже, но я учила его уже в школе и самостоятельно. В общем, тем, что я не оказалась в специальном интернате для инвалидов, а способна самостоятельно зарабатывать на жизнь переводами, я обязана своей «гувернантке».

Она же, кстати, давала нам с Иркой первые уроки рисования. У меня как-то не пошло, хотя мельницу на пригорке изображать и научилась. А Ирина поступила в Суриковское училище и стала довольно известной художницей.

Баба Фрося занималась сугубо хозяйственными делами: готовила, стирала, убиралась. А ведь ей уже было за семьдесят – и хоть бы что. Еще одна наша соседка – Елена Николаевна Шацкая, вдова репрессированного военного, была лет

на двадцать моложе бабы Фроси, а смотрелась ровесницей. Впрочем, тут были свои причины.

Мужа Елены Николаевны посадили и, по всей вероятности, расстреляли в страшном 1937 году. Она от мужа отреклась: тогда и такое делали, пытаясь выжить. Только не всегда это спасало. И не только отреклась, но и заставила сделать то же самое единственного сына. Константин был ребенок «домашний» и маму слушался. А в сорок первом году в первые же дни войны был призван и отправлен на передовую. Оттуда мать получила первое и единственное письмо, в котором сын писал, что проклинает тот день и час, когда отказался от родного отца, и винит в своем предательстве только ее – Елену Николаевну.

Больше писем не было. Через полгода пришло казенное извещение – «пропал без вести». А у Елены Николаевны произошел своего рода «сдвиг по фазе». Она решила, что Бог наказал ее за предательство, отняв сына. И в то же время была уверена, что сын жив, просто теперь уже он от нее отрекся таким хитрым способом. Помешательство ее было вполне безвредно для окружающих. Просто каждого незнакомого мужчину, попадавшего в квартиру, Елена Николаевна встречала воплем «Костенька!», а потом, кое-как осознав ошибку, запиралась у себя в комнате на несколько суток. А время от времени устраивала то, что Ирка впоследствии метко окрестила «сеансами покаяния»: становилась на колени посреди кухни и начинала умолять всех присутствующих

молиться за нее и за Иуду. В остальном – старушка как старушка. Только очень молчаливая.

Разговаривала она с одним-единственным человеком в квартире – Лидией Эдуардовной. Чем она руководствовалась в своем выборе – Бог ее знает. Но если «сеансы пока-яния» оказывались слишком затяжными или Елену Николаевну никак не удавалось убедить в том, что пришедший по вызову монтер или сантехник – не Костенька, шли за Лидией Эдуардовной. «Баронесса» несколькими словами меняла обстановку коренным образом и уводила несчастную помешанную в свою комнату – отпаивать валерьянкой.

«Баронесса» вообще была в нашей квартире чем-то вроде ООН, тогда как баба Фрося представляла собой нечто вроде НАТО. Лидия Эдуардовна убеждала – Евфросинья Прохорова действовала. Но работали они, как говорится, «в паре» и удивительно слаженно.

Единственной «горячей точкой» в квартире было семейство Сергеевых с безупречно пролетарским происхождением и главой – профессиональным алкоголиком. Пил Иван Ильич, правда, «с умом»: чекушку после смены на Дорогомиловском химзаводе, чекушку – дома после обеда, после чего ложился спать до следующей смены. Но иногда на него «накатывало», и он пару дней пребывал в состоянии, которое сам же кратко характеризовал – «ухрюкаться в...». Жена его, Клавдия Ивановна, торговала пивом возле метро «Кропоткинская» и пыталась воспитывать двух сыновей: Илью,

46-го года рождения («дитя Победы», как говорил мой отец), и Ивана, 47-го года рождения («результат отмены карточной системы», опять же, по выражению моего папы). Когда Ивану было уже двадцать лет, у Сергеевых родилась еще и дочка Верочка, цветик запоздалый. По-моему, тетя Клава так и не поняла, откуда у нее в пятьдесят с лишним лет да от почти семидесятилетнего мужа появилось такое сокровище. И баловала ее отчаянно, преодолев даже свой панический страх перед грозным «повелителем».

А муж, Иван Ильич, и в трезвом, и в пьяном виде был неизменен в двух вещах. Во-первых, являлся убежденным и непоколебимым сталинистом, а во-вторых, таким же беззаветным антисемитом. Но если его первая заповедь никого в квартире особо не волновала, то со второй оказалось сложнее. Ибо в одной из комнат проживало семейство, которому для полноты картины в жизни не хватало только старика Сергеева.

Моисею Семеновичу и Ревекке Яковлевне Френкелям чудом удалось выбраться во время войны из Киева с последним поездом и даже не попасть под бомбежку. В Москве повезло получить комнату в центре – и на этом период удач в их жизни надолго завершился. Семен Моисеевич ушел в ополчение и пропал без вести во время битвы под Москвой. А Ревекка Яковлевна осталась с полуторагодовыми близнецами Софьей и Семеном. Работала она врачом в госпитале, сутками там пропадала, и если бы не баба Фрося и тогда еще отно-

сительно вменяемая Елена Николаевна, семейство не вынесло бы и первой военной зимы. А так – ничего, выжили.

После войны Ревекка Яковлевна хотела вернуться в Киев. Даже съездила туда «на разведку», но через неделю вернулась, постарев лет на двадцать. Все родственники – и ее, и мужа – погибли. Кто в Бабьем Яре, кто в концлагерях. Квартира на Крещатике превратилась в руины, как и весь проспект, впрочем. Так что возвращаться было некуда.

Госпиталь, где она работала, закрыли. С большим трудом удалось устроиться участковым врачом в районной поликлинике. И то лишь потому, что в анкете она написала, что ни сама, ни ее родственники на временно оккупированных территориях не проживали. И это было почти правдой: они там умирали. Причем очень быстро.

Софе и Семе исполнилось по двенадцать лет, когда началась очередная антисемитская кампания в стране – «Дело врачей». Каким-то чудом Ревекка Яковлевна, еврейка-врач и жена пропавшего без вести врача-еврея, не пострадала. Но атмосфера удушливого страха, в котором она и ее дети прожили целый год, сделала из Софы и Семы не забитых обывателей, а яростных борцов. Заводилой, правда, был Семен. Софа лишь слепо копировала обожаемого брата. Чем бы это кончилось, неизвестно, но как раз в год моего рождения вернулся их отец. Живой, хотя порядком измочаленный пленом, концлагерем у немцев, фильтрационным лагерем в Сибири. На его беду, освободили от немцев

его не советские солдаты, а американские союзники. И компетентные органы, разумеется, решили, что врача-ополченца Моисея Френкеля, безусловно, завербовали в шпионы. Да и вообще подозрителен был сам факт того, что он, пленный, да еще и еврей, остался в живых. За это он десять лет и провел в «филтрации». Домой вернулся отфильтрованным настолько, что в свои сорок пять выглядел ровесником семидесятилетнего соседа.

С возвращением отца Семен несколько притих. Они с сестрой закончили десятый класс, оба с золотыми медалями, и собрались поступать в институт. Разумеется, медицинский. И тут уже совсем некстати состоялся Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве. И красавица Софа (до недавнего времени я могла судить об этом лишь по фотографиям) без памяти влюбилась в одного из иностранцев. Чувство оказалось взаимным, и после недолгой, но отчаянной борьбы с властями Софа вышла замуж и уехала вместе с мужем в Америку. Создав тем самым совершенно кошмарную жизнь и для родителей, и для брата.

Больше всех пострадал, разумеется, Семен. Ни в какой институт его, золотого медалиста, не приняли. И вообще намекнули, что высшего образования не видать ни ему, ни его детям. Участковый же регулярно напоминал, что за тунеядство можно быстро оказаться за 101-м километром. Пришлось устроиться санитаром в больнице, где-то на окраине Москвы в Кузьминках, два часа езды в один конец.

Родителей же Софкино замужество просто добило. Ревекка Яковлевна кое-как дотянула три года до пенсии, после чего и она сама, и ее муж выходили из дома только в случае крайней необходимости. Боялись всего и всех. А самым страшным был тот день в году, когда приходило письмо «оттуда». От Софы. Месяц после этого старики спали одетыми, с готовыми узелками в головах. Ждали ареста. Потом Софка поумнела и письма стала присылать «с оказией».

Вот такой семье «повезло» попасть в одну квартиру с Сергеевыми. Воинствующий антисемитизм старика Сергеева сам по себе был крестной мукой. Но глупость его супруги, полжизни проводившей в очередях «за дефицитом» и приносившей из этих очередей самые невероятные слухи и сплетни, могла dokonать и куда менее робких людей, чем Френкели-старшие. Кроме того, Сергеев был абсолютно убежден в том, что «у нас зря никого не сажают», и десять лет, проведенные соседом, бывшим военнопленным, да еще и «лицом еврейской национальности», считал заслуженным наказанием. Сыновья Сергеевы воплощали теорию в практику, причем методы их день ото дня становились все изощреннее. Дошло до того, что Ревекка Яковлевна выходила на кухню только тогда, когда убеждалась, что молодых соседей нет дома. Или в присутствии Семена, которого «братья-разбойники» немного побаивались.

По иронии судьбы оба брата Сергеевых один за другим оказались в тюрьме: старший, кажется, за фарцовку, млад-

ший – за банальную квартирную кражу. По этому поводу отец семейства разразился на кухне пламенной обличительной речью против подлецов-судей, которым бы только выполнить план и засадить за решетку побольше народу. А виноватых или невинных – дело десятое. Присутствовавшая при сем баба Фрося негромко обронила:

– Ты же сам говорил, Иван Ильич, что у нас зря никого не сажают. Или ошиблась я?

Иван Ильич запнулся, будто налетел на невидимую стену. Но потом все-таки нашелся.

– Это раньше, при товарище Сталине, все было по справедливости. Порядок был. А теперь распустили всех, сукины дети, хрущевские выкормыши! Из тюрем врагов выпускали, хороших людей грязью замазали, мелят языками что ни попадя. Иностранцев полна Москва, ихние фильмы о красивой жизни крутят. Конечно, молодым манко. А все эти, евреи!

– Ты, Иван, на старости лет да от водки совсем рехнулся, – отмахнулась от него баба Фрося. – Софка, что ли, твоего парня на чужую квартиру навела? Или Моисей Семенович постарался?

– Все равно от них все зло! – продолжал бушевать старик.

– Твоя Клавка сядет за недолив – тоже они виноваты будут? У моих хозяев, царствие им небесное, евреи в гостях бывали, точно помню. Культурные люди, обходительные, воспитанные. А тебя, хама, дальше кухни не пусти-

ли бы.

– А может, твои хозяева тоже евреями были, почему я знаю! – не желал сдавать позиции старик.

Тут подросла Лидия Эдуардовна.

– С таким именем, как у вашего отца, милейший, я бы помалкивала. Самое что ни на есть еврейское имя – Илья. Хоть кого спросите.

С двумя «миротворческими силами» Ивану Ильичу было уже не справиться, и он убрался с кухни, бормоча себе под нос что-то о сионистском логове и мировой заразе. А баба Фрося, увидев меня в дверях кухни, погрозила пальцем:

– Нечего тут подслушивать! Старые – что малые, несут невесть что. Лучше пойдешь скажи тете Риве, чтобы шла стряпать. Теперь он не скоро выйдет, да и мы тут.

Такой была наша квартира в самый ее расцвет. Смешно, но иногда я скучаю о том времени. Конечно, в основном потому, что тогда мне можно было носиться по всей Москве, ходить с подружками в кино, бегать на свидания. Мне было всего пятнадцать лет, жизнь только-только начиналась, и для меня она была прекрасна. Другой я не знала и не хотела.

Тогда было безумно модным фигурное катание. Соревнования фигуристов показывали по телевидению, имена чемпионов были известны всем не хуже, чем имена первых космонавтов. Мои родители хотели, чтобы у меня было все. Поэтому я ходила в музыкальную школу и занималась в секции фигурного катания. И если успехи в игре на рояле у меня

были, мягко говоря, посредственными, то на катке мне кое-что удавалось. Печально было только то, что наши с Ирккой увлечения перестали совпадать. Ей, что называется, «медведь на ухо наступил», поэтому она сразу отказалась от всего, что связано с музыкой. Зато не пропускала ни единой выставки живописи, в которой я не понимала абсолютно ничего.

Разделял нас еще один момент. Ирка была круглой сиротой, а я – любимой дочкой обеспеченных родителей. Не отличавшейся, кстати, особой тактичностью. Потому и услышала как-то от ближайшей подруги и молочной сестры вполне заслуженный упрек: «Конечно, тебе все на блюдечке преподносят! Несправедливо это. Нужно, чтобы все было поровну».

Присутствовавшая при этом баба Фрося резко оборвала Ирку. Будто чувствовала, что по большому счету нам все поровну и достанется... со временем. А пока... пока, засыпая, я видела себя на льду катка под ослепительным светом прожекторов, в костюме, расшитом блестками, и слышала, как диктор объявляет:

– Первое место и золотую медаль завоевала спортсменка из Советского Союза Регина Белосельская!

Эти мечты оборвались в тот день, когда во время одного из сложных упражнений я упала и сильно ударилась спиной. Год после этого прошел в самых разных больницах и мучительных процедурах. Наконец, врачи вынесли окончатель-

ный приговор:

– Ходить не сможет никогда. Но все остальное в принципе не заказано...

Интересно, что они имели в виду под остальным?

Свое шестнадцатилетие я встретила в инвалидной коляске.

## **Глава третья. Каждой коммуналке – своего сумасшедшего**

Все мы в свое время читали «Повесть о настоящем человеке». Так что напомним только один эпизод из этой книги. Когда в госпитале, уже лишившись ног, Алексей Маресьев сомневается, сможет ли он не только ходить на протезах, но и управлять боевым самолетом, комиссар Воробьев развеивает все его сомнения одним-единственным аргументом: «Но ты же советский человек!».

К счастью, мне никто не предлагал подобных утешений. Никто не напоминал о том, что я – комсомолка, что Николай Островский создавал шедевры, будучи вообще прикованным к постели да еще и слепым. К счастью, потому что это меня бы не утешило. Создавать шедевры я не собиралась, управлять самолетом – тем более. Да и протезы мне были ни к чему – ноги-то сохранились. Правда, неподвижные, зато по-прежнему длинные и стройные. Хорошо хоть мини-юбку успела поносить.

Это сейчас я в состоянии шутить над собственной беспомощностью. Тогда же находилась на один шаг от самоубийства. Родители пытались меня ободрить, но и сами были в отчаянии. Столько надежд возлагали на единственную дочь – и на тебе, инвалид на всю оставшуюся жизнь. В общем-то – тяжкий крест для немолодых людей.

Первые крохи утешения, как ни странно, получила от... Семы Френкеля. К семьдесят первому году он уже вернулся в столицу из очередной поездки «за романтикой» и продолжал расшатывать нервную систему родителей. Одно время он развлекался тем, что сутками напролет перепечатывал на старенькой портативной машинке произведения «самиздата». Как только он отлучался из дома, Ревекка Яковлевна сгребала в охапку его продукцию и... не знала, что с ней делать. Сжечь? Когда-то на кухне стояла большая печь, но ее давно разломали и провели газ. Выбросить? А если кто-то найдет это в мусорном баке? В конце концов она робко стукалась ко мне:

– Региночка, деточка, можно это у тебя полежит? Я боюсь...

Потом приходил Семка и забирал свои сокровища обратно. Так продолжалось до тех пор, пока мое терпение не истекло.

– Слушай, Сема, перестань мучить своих родителей. Они же не перенесут, если с тобой что-нибудь случится.

– Ничего со мной не случится! – легкомысленно отмахнулся Семка. – Впрочем, мне самому надоело. Тюкаешь по клавишам, тюкаешь, а результатов никаких. Десять человек прочитают, десять миллионов по-прежнему будут считать вершиной человеческой мысли передовицу в «Правде». Тебе-то понравилось?

– Я не читала, – сухо ответила я.

– Напрасно. Будь я на твоём месте, я бы читал сутками. Особенно это.

– Давай поменяемся местами, – уже со слезой в голосе ответила я. Но Семку бесполезно было даже пытаться разжалобить.

– Не ной, моя милая. Голова на месте, руки в порядке, мозги варят. Сидишь в тепле, мама с папой рядом. А в брезентовую палатку на сорокаградусный мороз не угодно? Или шпалы поворочать на ветру? Я ведь на стройке санитаром был. Такого насмотрелся – во сне не приснится. Там десятки человек лишались рук и ног просто потому, что отмораживали их. При скольких ампутациях я присутствовал...

– Это, конечно, очень утешает: другим ещё хуже, чем мне.

– Нет, иначе: тебе лучше, чем другим. А вместо того, чтобы оплакивать себя, научись на машинке печатать. И готовься поступать в институт. Заочный, разумеется. Программы я тебе на днях принесу, выберешь. Ты не еврейка, тебя примут.

И исчез на несколько дней. На меня же его смешочки подействовали, как оплеуха на истеричку. Правда, и потом случались срывы, но о самоубийстве думалось значительно реже.

Лидия Эдуардовна приходила каждый день. Она как нечто само собой разумеющееся возобновила занятия со мной. Один день мы говорили по-немецки, другой – по-французски. Как будто вместе со мной готовилась поступать на заоч-

ное отделение исторического факультета. Всегда была ровна, улыбочива, выдержанна. Если же у меня начинали дрожать губы, а глаза становились подозрительно влажными, пресекала эмоции в зародыше:

– Слезами горю не поможешь. Пережить можно все, кроме собственной смерти.

А однажды рассказала мне, что в самом начале войны ее арестовали и забрали на Лубянку. Просидела она там ровно сутки, по-видимому, в сорочке родилась. Тем более что именно за эти сутки одна из двух немецких бомб, упавших на Арбат, сровняла с землей тот дом, где жила Лидия Эдуардовна. Погибло все, кроме иконы Николая-угодника. Зато, возвращаясь домой пешком по бульварам, нашла она золотое колечко с изумрудом и по сей день хранит, как талисман. Да еще ее, как погорелицу, поселили в хорошую квартиру, в большую – аж четырнадцать метров – комнату. А если бы не арестовали? Так что во всем нужно искать положительные стороны.

Я не могла найти ничего положительного в том, что в пятнадцать лет стала калекой. Наоборот, все больше ожесточалась. Все раздражало, все, казалось, делалось специально для того, чтобы я острее чувствовала свою ущербность. Школьные друзья понемногу исчезали из моей жизни, а новых, разумеется, не было. На заочное отделение истфака меня приняли, но я не видела смысла в учебе. А тут еще произошло событие, надолго выбившее из колеи не только ме-

ня – всю квартиру.

В семьдесят втором году Семена арестовали. Пришли ночью, перерыли всю комнату и увели с собой. В ту же ночь его отца разбил паралич. Первой – и весьма своеобразно – отреагировала на это Елена Николаевна, которая внезапно ворвалась ко мне в комнату и закричала во весь голос:

– Из этой проклятой квартиры исчезают все сыновья! Но они вернутся! Все вернутся, нужно только вымолить у Бога прощение.

Зато откровенно радовался старик Сергеев:

– Я же говорил, что у нас зря никого не сажают. Доигрался, щенок, в свои игры. Вот ведь народец: живут, понимаешь, на всем готовом, комнату им государство предоставило, пенсию платит, а они только и думают, как бы ему нагадить да в свой Израиль удрать. Вот и уезжали бы, освободили рабочим людям комнату.

На его беду, в кухне в этот момент находилась Мария Степановна, органически не переносившая «митинги»:

– Вы бы сократились, Иван Ильич, не на собрании. Тесно вам? А ведь эта квартира вся принадлежала нашей семье, когда я родилась. И живете вы, между прочим, в кабинете моего покойного отца. И я уже полвека терплю всевозможных «товарищей», вплоть до, извините, уголовников. Так что и вы потерпите, невелики баре!

– Ах ты, буржуйка недорезанная! – взвился было тот, но тут в дверях кухни возникла баба Фрося, и Иван Ильич

предпочел ретироваться.

Понять раздражение Марии Степановны было можно. Ирка, моя подруга и ее внучка, вступила в «опасный возраст» первых влюбленностей и свиданий, и не было никакой уверенности в том, что она не пойдет по стопам своей несчастной матери (да и бабушки, если уж на то пошло) и не принесет кого-нибудь в подоле. На Фросю надежды уже не было: старуха разменяла восьмой десяток. И квартира эта проклятая, в которой вечно что-нибудь случается...

Но бывали и радостные события. Например, однажды отец пришел домой и торжественно объявил:

– В будущем году определенно переезжаем! Квартиру мне обещали твердо. Три комнаты, большая кухня, лоджия. И никаких соседей!

Только отец так и не дождался переезда – умер прямо в своем служебном кабинете от инфаркта. И остались мы с мамой в коммуналке пожизненно: двадцать пять метров на двоих исключали даже призрачные надежды на отдельную квартиру.

Когда мне в 1976 году исполнился 21 год, вернулся Семен. С целым букетом хронических заболеваний, растерявший половину роскошных кудрей, но оптимизма отнюдь не утративший. Вернулись и сыновья Ивана Ильича, здоровье сохранившие, но вместо прежних хулиганских замашек приобретшие повадки настоящих хищников.

Возвращение их ознаменовалось грандиозной пьянкой.

А на следующий день Лидия Эдуардовна хватилась своей старинной иконы. При всех конфликтах и скандалах в нашей квартире ни одна дверь в ней никогда не запиралась. Кроме входной, разумеется.

Лидия Эдуардовна от огорчения слегла. А баба Фрося попыталась навести порядок.

– Взял кто-то из своих. Извини, Иван Ильич, но на твоих орлов прежде всего думается. Может, по-доброму вернут, без милиции.

Старик замельтешился, надулся, но молодое поколение, позабыв характер бабы Фроси, вообразило, что имеет дело с выжившей из ума древней старухой.

– Давай, бабка, ползи в свою щель! – отрезал ей младшенький Сергеев, Илья. – А будешь много выступать, и до твоего барахла доберемся. Поглядим, не заваялось ли там чего от проклятого царизма...

– Что, гегемон, воспитал достойную смену? – не без ехидства спросила баба Фрося.

Но дальше разговаривать не стала, ушла к себе.

А вещи из нашей квартиры стали пропадать регулярно. Практически у всех жильцов. Только меня братцы не трогали, наверное, считали, что и так Богом обижена. Да и я все время торчала дома – это, наверное, было важнее. В общем, наконец та же баба Фрося поставила братцам ультиматум:

– Или вы перестанете пакостить в собственном доме, или через неделю оба сядете по новой. Я разговоры разговари-

вать не буду. Я враз делом займусь.

Вспомнивши о том, что у старухи слова действительно с делом не расходятся, братья унялись. А потом, по-видимому, поняли, имеются вполне законные способы зарабатывать на хлеб с маслом. Иван пошел в официанты, Илья стал... су-тенером.

Соседи – не правоохранительные органы, от них трудно что-либо скрыть. Когда выяснилось, чем занимается младшенький Сергеев, все дружно ахнули, а старик отец стал помаленьку заговариваться. Но еще пытался как-то повлиять на непутевого сыночка:

– Тебя же опять посадят, дурья твоя голова. Я за всю жизнь копейки чужой не взял, герой соцтруда, а ты меня теперь позоришь...

– Не герой вы у меня, батя, а дурак, – получил он в ответ. – Вы, папаша, отстали от жизни, не понимаете требований времени. И не посадят меня, потому как в нашей стране проституции нету. Не существует такого явления. А раз нет явления, то нет и статьи. А без статьи никто не посадит. Что я плохого делаю? Знакомлю девушек с мужчинами. Может, они сами стесняются первыми подойти. А я – тут как тут, помогаю. И не платят они мне – благодарят. За помощь в устройстве личной жизни. Поняли, папаша?

Пока Илья пытался втолковать отсталому родителю благородную цель своих занятий, его брат Иван без особого шума и сравнительно быстро накопил денег на кооператив. И пе-

реехал туда, заявив ошеломленному отцу:

– Деньги заработаны, не украдены. Ордер выписан честь по чести, на, полюбуйся. А тебе, как герою и ветерану труда, квартиру дадут бесплатно. Лет через тридцать, если очередь подойдет.

Ивана не видела после этого лет пятнадцать. Даже на похороны отца он не приехал. Как, впрочем, и Илья, который в скором времени женился на одной из своих «подопечных» и, не получив родительского благословения, отряс с ног прах родного очага и прописался у молодой супруги.

В одну из последних ночей, которые Илья провел дома, мне, как со мной часто бывает, не спалось. Я сидела в своем кресле, не зажигая света, чтобы не беспокоить маму, и вдруг услышала какой-то шорох в коридоре. Открылась и закрылась входная дверь. Послышался громкий шепот:

– Достал ты эту доску?

Голос принадлежал Ивану.

– Не, не успел. Все время народ колготился, то в кухне, то в ванной. Мне не с руки было.

– Дурак! Заперся бы, пустил воду, а сам вытащил бы иконку, да и вынес бы под полой... Крутишь ты что-то. Не иначе, все себе хочешь забрать.

– Может, и хочу. Только у меня надежных покупателей нет пока.

– Завтра приду в это же время. Чтобы все сделал.

– Сделаю, не волнуйся.

Дверь снова открылась и закрылась. Послышались удаляющиеся по коридору шаги Ильи. А я все еще сидела в оцепенении и мучительно размышляла: о какой иконе шла речь? Что на сей раз затеяли «братья-разбойники». И вдруг меня осенило: это же икона Лидии Эдуардовны. Они ее прятали прямо в квартире, до лучших времен. А теперь, видно, нашли хорошего покупателя, вот и торопятся вынести. А Илья, хоть и ловкий парень, но соображает туговато. Не нашел времени, чтобы без свидетелей в ванную зайти. Ничего, зато я найду.

Я сползла со своей коляски и по-пластунски двинулась в коридор. Добралась до комнаты Френкелей, поскреблась в нее. Семен спал чутко, сам жаловался. Поэтому через минуту он открыл дверь и в недоумении замер на пороге. Потом глянул вниз.

Я приложила палец к губам, потом сделала знак рукой и поползла в сторону кухни. Ошалевший Семен крался за мной, даже не пытаясь помочь.

В кухне я шепотом велела ему закрыть обе двери, в коридорчик и в самую кухню. А потом также шепотом сказала:

– Иди в ванную, там, в старой трубе должен быть сверток. Достань его, пожалуйста.

– Ты в своем уме? – обозлился Семен.

– В своем, в своем, – успокоила его я и быстро посвятила в суть дела. Семен слегка свистнул и кошкой метнулся в ванную. Там когда-то, еще до войны стояла дровяная ко-

лонка. Потом провели газ, колонку убрали, а отверстие для трубы осталось. При желании там можно было спрятать средних размеров радиоприемник.

Через минуту Семка вернулся с газетным свертком в руках. Я тем временем не без труда перебралась на табуретку у окна. Мы развернули бумагу и в тусклом свете уличного фонаря увидели знакомую нам обоим икону. Бесценный Николай-угодник, единственная ценность Лидии Эдуардовны.

– Что это вы тут затеяли? – негромкий голос бабы Фроси заставил меня подскочить от неожиданности.

– Да вот Регинка икону нашла, – как нечто само собой разумеющееся объяснил Семен. – То-то наша баронесса обрадуется.

Пришлось коротко объяснить все и бабе Фросе. Она выслушала – и протянула руку.

– Пока этот ирод не съехал, я это у себя спрячу. Ко мне не сунется. А то, чего доброго, он со зла такого наворочает, сам не рад будет...

Что ж, она была права. Мы с Семеном разошлись по своим комнатам. Точнее, он отнес меня на руках в мою коляску, а уж потом проскользнул к себе. Весь следующий день я не без удовольствия наблюдала ошарашенную физиономию Ильи. Ночного разговора с Иваном, правда, не слышала – спала. Но об итогах догадалась сразу, едва увидела роскошный, новенький, отливавший перламутром синяк под глазом у соседа. С этим украшением он из родительского дома, на-

конец, убрался. А мы с бабой Фросей отправились к Лидии Эдуардовне и без лишних слов вернули ей икону. Чем, в полном смысле слова, вернули к жизни: почти не поднимавшаяся с постели со времени пропажи своей реликвии наша баронесса уже на следующий день самостоятельно вышла на кухню, а потом вообще вернулась к прежнему образу жизни.

И я – тоже. А в моей обычной жизни никаких ярких событий не происходило. На машинке печатать я в свое время выучилась и теперь зарабатывала себе на жизнь переводами для одного научного журнала. Тексты были скучными, платили до обидного мало, но все-таки эти деньги составляли довольно ощутимую прибавку к моей инвалидской пенсии. А после папиной смерти мы с мамой считали не рубли – копейки. Сбережений мои родители отродясь не делали, да и моя болезнь стоила им, прямо скажем, немало. По меркам нашей квартиры мы, правда, жили средне. По меркам более общим – ниже среднего уровня. Но ведь мне были не нужны ни обувь, ни новые тряпки. Тем более что я и из дома-то выходила в исключительных случаях.

Точнее сказать, не выходила, а меня выносили и усаживали на лавочку во дворе. Потом следом вытаскивали коляску и пересаживали меня в нее. Для всех этих сложных манипуляций был необходим мужчина, плюс теплая и сухая погода. Сначала этим занимался папа, а когда его не стало – Семка. Но уж тут, ко всему прочему, он должен был находиться дома в дневное время – редкость чрезвычайная. Так что после

папиной смерти я бывала на воздухе в среднем три-четыре раза в год. И если честно – не очень-то любила эти «выходы в свет»: терпеть не могу, когда меня жалеют.

В восьмидесятом году, как раз перед Олимпиадой, слегла баба Фрося, никогда и ничем не болевшая. Слегла – и уже не встала. А буквально за несколько часов до смерти, когда я заехала в своем кресле к ней провести, шепнула мне:

– Боюсь, что умру и все прахом пойдет. Ты девка разумная, да и из квартиры, почитай, не уходишь. Так вот, на самый-самый крайний случай, если с кем из вас большая беда будет, запомни: в чулане при кухне, в том углу, где железный лист прибит, я еще в семнадцатом году спрятала пять тысяч царских золотых. Покойный хозяин мне их отдал, когда обыски начались. Прислугу-то не трогали. Да и потом... любили мы с ним друг друга. Сильно любили, потому я в девках и осталась, его помнила. Я спрятала, конечно, а он через месяц после этого умер. Только помни: в самом крайнем случае. И никому ничего не говори. А в мою комнату теперь уже никого не поселят, точно знаю. Все, устала я. Иди с Богом, ты ведь мне тоже как внучка была, может, даже ближе, чем остальные-то... Иди уж...

Баба Фрося умерла так же, как и жила: думая о других. С вечера, неизвестно откуда взяв для этого силы, встала, умылась, оделась во все новое, приготовила свечку и снова легла в постель. Утром мы нашли ее уже без дыхания.

## Глава четвертая.

### Нехорошая квартира

Несмотря на все эти малоприятные происшествия, я, до поры до времени, считала, что ничего сверхъестественного в нашей квартире не происходило. Так, коловращение жизни, смена поколений. Но вот Ирина категорически утверждала: квартира, мягко говоря, нехорошая. И, едва выйдя из отроческого возраста, поставила себе цель: любой ценой выбраться из нашей квартиры.

Ребенком-то она наше жилище воспринимала спокойно: почти все наши школьные подружки жили в таких же арбатских коммуналках. У нас еще было, пожалуй, потише, чем у других. Но чем старше она становилась, тем тяжелее переносила домашний очаг. Особенно болезненно она воспринимала мою скрюченную фигуру в коляске. Если бы я не знала Ирину так хорошо, то пожалуй бы, решила, что она мною брезгует. Как раздавленной кошкой на мостовой.

Конечно, это было не так. Просто жизнь у самой Ирины с каждым днем становилась... не труднее, нет, но ожесточеннее, что ли. А когда умерла баба Фрося, то моей подруге стало просто неведомо. Старуха еще как-то разряжала атмосферу, а без нее стало нечем дышать. Баба Маша, родная бабка Ирины, никогда не отличалась легким характером, но с возрастом начала терять чувство меры вообще.

Во сколько бы ни вернулась Ирина домой, она тут же попадала под перекрестный допрос: «Где была?» «С кем была?» «Надеюсь, глупостей не наделала?» А заканчивалось все одинаково: «Принесешь в подоле, как твоя мать, – выгоно из дома!»

Надо отдать должное Ирке: она терпела, сколько могла. Даже тогда, когда бабка залепила ей в моем присутствии: «Лучше бы тебя парализовало, как Регину, все спокойнее бы мне было!», даже тогда, повторяю, наорала на Марию Степановну я, а не Ирина. Она просто молча повернулась и ушла. Вернулась через несколько дней, что, естественно, ее отношения с бабкой не улучшило никоим образом.

– Ты бы вышла замуж, – посоветовала я ей как-то в один из тех редких вечеров, когда она сидела дома и была расположена со мною беседовать. – Нельзя же жить в такой атмосфере – так и спятить недолго. У тебя же поклонников полно. Олег, например, просто сохнет по тебе уж который год. Чем не жених?

– Он-то жених, только я пока не невеста, – вздохнула Ирина. – Понимаешь, у меня с ним уже все было и... Ну. Не нравится мне это, хоть убей. Кто придумал, что женщина от этого удовольствие получает? Сейчас немного притерпелась, а вначале б-р-р! Сплошной ужас! А Олег, конечно, хочет жениться – он же у меня первый. Я не готова. Не люблю его по-настоящему.

– Не мое дело советы давать, но можешь человека сделать

абсолютно счастливым. Как в одной из кинокомедий говорил: «Жениться нужно на сироте». На мне, как ты понимаешь, никто не женится. А на тебе – сию же минуту.

– Перестань ерничать! У меня бабка есть, забыла? Впрочем, если я соглашусь выйти замуж за Олега, он должен будет благодарить за это в первую очередь ее. Достанет она меня окончательно – уйду замуж. Не в петлю же лезть?

Мария Степановна Ирку в конце-концов «достала» и свадьба, таким образом, состоялась. Ирина переехала к мужу в мастерскую. Но, по-видимому, в чем-то она оказалась права, приписывая нашей коммуналке магические свойства. Квартира «не захотела» ее отпустить: через два года первое замужество Ирины закончилось и она вернулась в ненавистные ей стены. А куда еще более деваться?

Потом, много позже, Ирина мне кое-что рассказала о своей семейной жизни. Не хочу вдаваться в подробности, но причиной разрыва оказалась Иркина беременность. Ее муж, как и она, художник, но в отличие от нее, гениальный, вечно сидел без денег, так как считал ниже своего достоинства «работать», а не «творить». Деньги зарабатывала Ирка – художник-иллюстратор в одном из крупных издательств. На жизнь хватало, но не более. А тут – ребенок.

Ирка пропустила – то есть просто проворонила по темноте своей все признаки «интересного положения», а когда спохватилась, то денег на нелегальный аборт у специалиста не нашлось. Хватило на криминальный, в результате которо-

го она чуть не отдала Богу душу, после чего попала в больницу с заражением крови. Ее спасли чудом и... дали стопроцентную гарантию того, что детей у нее уже не будет никогда и ни при каких условиях. А ее прекрасный муженек ни разу не выбрал времени ее навестить. К Ирине ездила Лидия Эдуардовна и Семен Френкель. Родная же бабка наотрез отказалась даже слышать о внучке и встретила ее дома одним-единственным словом:

– Детоубийца!

В результате Ирка перетасила кое-какие пожитки в опустевшую комнату бабы Фроси, а с Марией Степановной просто перестала разговаривать. По правде сказать, и та не стремилась помириться:

– Я свою жизнь прожила. Думала, понадобится правнуков нянчить, так откуда же они теперь возьмутся? Ты, Регина, вообще невинная девушка, как ты с этой распутницей разговариваешь? Это надо придумать – аборт делать!

В общем, без мужа рожать – грех, аборт делать – преступление, а я – «голубица непорочная». Я плюнула и перестала вмешиваться. У бабки явно поехала крыша, а Ирину мне было безумно жаль.

Самое забавное заключалось в том, что баба Маша, в пик родной внучке, начала привечать соседскую девочку – Верочку. Забавно это было потому, что хорошенькая, как куколка, Верочка была отнюдь не безгрешна, скорее наоборот. Ее мама тихо скончалась во сне, братцы давно жили своими

домами, а отец по старости уже начинал заговариваться. Поэтому Верочка вытворяла все, что ей приходило в прелестную голову. К тому же не училась и не работала.

Помимо Ирины мне, честно говоря, было жаль себя. Когда я только-только притерпелась к своему калечеству, закончила институт и получила надомную работу, стала прихварывать моя мама. Сначала мы с ней все списывали на усталость – уставала она каждый вечер смертельно. Потом начались всякие недомогания. Но, как это у нас водится, к врачам мама до самого последнего момента обращаться не желала. А когда наконец обратилась...

В общем, в больницу ее положили просто для соблюдения формальностей: рак крови неизлечим. Да еще потому, что «вошли в положение»: сиделка из полупарализованной дочери – из рук вон. Но перед самой смертью все-таки выписали. И две недели мама пролежала дома, угасая у меня на глазах. Беспокоилась она только об одном: что будет со мной после ее смерти. Хотя в общем-то оставляла не маленького ребенка, а женщину «за тридцать». И все же, все же...

И в эти же страшные две недели я совершила смертный грех. Возроптала. Маме только-только исполнилось шестьдесят семь – и она умирала. А Елена Николаевна – безумная, одинокая, никому не нужная в семьдесят с лишним – жила. Две другие старухи – «ровесницы века» – на моей памяти ничем серьезным никогда не болели и в свои восемьдесят с бо-о-льшим хвостиком могли дать фору любой пятидеся-

тилетней тетке. Почем мама, а не они, свое уже отжившие? Да, это были жестокие мысли, но и ко мне ведь жизнь была на слишком ласкова.

В один из вечеров мы курили с Ирой на кухне и я призналась ей в своих мысленных жалобах. Та фыркнула:

– Велик грех, подумаешь! Но я тебе скажу: это поколение особой закалки. Тройной. Они столько вынесли, что у них, наверное, особый иммунитет выработался. Мы с тобой из другого теста. Пожиже.

– Можно подумать, ты живешь в Калифорнии и получаешь от жизни только наслаждение! О себе вообще молчу.

– Мы с тобой войну не переживали и того, что до нее – тоже. А наше личное... Это для нас трагедия, а с точки зрения истории – так, плевок из космоса.

На скромных поминках Лидия Эдуардовна неожиданно произнесла вслух то, о чем я думала и за что себя упрекала:

– Несправедливо. Обо мне смерть забыла, молодых подбирает. Ну, да с Господом судиться не будешь, он знает, что делает.

– Да, зажились мы с тобой. – поддержала ее Мария Степановна. Хотя у нас теперь Регина – как оставишь? Придется, видно, тянуть...

– Я могу переселиться в интернат, – неизвестно на что обиделась я.

– Туда, как и на кладбище, всегда успеешь, отмахнулась Лидия Эдуардовна. – Жизнь, Региночка, штука сложная, ни-

когда не знаешь, что завтрашний день принесет.

Вот это было правильно, хотя завтрашний день ничего не принес. Но через неделю после этого семья Френкелей получила разрешение на эмиграцию, которого они дожидались всего-навсего десять лет.

Возможно, их выпустили давно, если бы не Семка. Мало того, что он успел срок в лагере, так не было ни одной диссидентской акции, в которой бы он не принимал самого деятельного участия. За что его регулярно задерживала милиция и, похоже, избивала. Почему не посадили снова – загадка. Или просто недосмотр.

Когда же разрешение было, наконец, получено, его мать, Ревекка Яковлевна, боявшаяся всего на свете, вдруг наотрез отказалась уезжать, намереваясь умереть на Родине. Семен терпеливо уговаривал ее, пока не взорвался:

– Или мы едем все вместе, или вообще не едем! Как ты будешь одна с отцом, подумай? Дом расселят, через пару лет ты очутишься одна на последнем этаже где-нибудь у черта на рогах и никому до тебя не будет никакого дела. Последний шанс – дожить остаток дней по-человечески. Там ты спокойно сможешь поставить чайник на плиту и никто тебя за это не обзовет «жидовской мордой».

Тетя Рива сдалась и начала готовиться к отъезду, то есть перебирать свои нищенские «сокровища» и размышлять, что брать, а что оставить. Размышления эти прерывал тот же Семен, который просто сгребал в охапку содержимое оче-

редной коробки или узла и молча тащил все это на помойку. Одним словом, не соскучишься.

Меня он развеселил тоже: предложил руку и сердце. Наверное. Следовало согласиться, но здравый смысл удержал. Кому я там нужна – калека?

– А кому ты нужна здесь? – резонно спросил Семен. – Елене Николаевне? Марии Степановне? Или нашему передовику-антисемиту?

– Не знаю. Знаю только, что с таким «обозом» – парализованный отец и полупарализованная жена – тебе там не обрадуются. И вообще не дури. Что тебе приспичило тащить за собой жену местного изготовления? Да еще – русскую. Женишься там на своей...

– А я, может, патриот! И потом лучше русских женщин не бывает, это уж ты мне поверь. Когда-то я это на практике проверил. А теперь Региночка, мне никакой женщины уже не нужно – охранники в лагере постарались, соседи по нарам добавили, родная милиция в Москве завершила.

– Не сходи с ума. Спасибо, конечно, за заботу, но никуда я не поеду. Женись на Ирине, она не чаёт отсюда выбраться.

– Ладно, – покладисто согласился Семен, – посиди пока здесь. А когда надоест – напиши. Я тебе оттуда жениха пришлю. Настоящего.

– Договорились. Только чтобы брюнета, с голубыми глазами, не старше тридцати пяти, рост – метр девяносто, вес – девяносто, плечи широкие, пальцы – тонкие. Я девушка при-

вередливая, с моей красотой можно и повыпендриваться.

— Не ерничай, теперь этого не могу! Это у нас если в кресле — то инвалид и должен плести авоськи. А там — просто немного ограниченный в передвижении человек. А вообще ты довольно красивая, особенно если причешешься...

Я запустила в Семку подушкой. А он в тот же вечер сделал предложение Ирке. Если Семеном овладевала идея — средства против нее не было.

Ирина тоже отказала: она все еще надеялась на брак по любви. Так что Семену и во второй раз не удалось никого осчастливить. А вот третья попытка была успешной.

Верочка Сергеева, к неопишущему ужасу своего одряхлевшего отца — антисемита, оказалась, как тогда говорили, «девицей легкого поведения». Интердевочка еще не была написана, посему профессия путаны в моду не вошла. Верочка была одной из первых, так сказать «легальных», то есть не слишком маскирующих свое занятие от общественности. Отец, разумеется, все узнал последним. И то когда чисто случайно уронил дочкину сумочку на пол и оттуда выпала паечка «не-наших» денег.

Сцена, разыгравшаяся вслед за этим, была чудовищной. Иван Ильич кричал так, что слышно было не только по всей квартире, но, наверное, и в доме напротив. Слов, разумеется, не выбирал, говорил те, которые хорошо усвоил с детства. Верочка отвечала тише, но лексикон у нее был примерно такой же. Самым приличным выражением в устах отца было

«шлюха», у дочери – «старый идейный козел». Старик посулил проклясть родное дитяtko, но это не произвело на юную деву решительно никакого впечатления. Она только фыркнула:

– Ты уже двоих проклял, так они как сыр в масле катаются, да еще тебя не видят, как я, каждый божий день. Прокляни – может, и мне повезет.

И Иван Ильич действительно проклял Верочку.

Я напoмню: Вера говорила сравнительно тихо. Поэтому Семен, вообще глуховатый, расслышал только ругань старика. И, одержимый своей навязчивой идеей спасти кого-нибудь еще из этого совкового кошмара, предложил Верочке стать его женой. И уехать за границу. А там она сама будет решать, что ей делать.

С моей точки зрения, Верочка была вполне нормальной и неплохой девочкой. Просто ей некому было заняться. Поздний ребенок, предмет слепого обожания отца и матери, она была, безусловно, страшно избалована. А ее «валютные занятия»... Я лично о них догадалась довольно быстро, потому что поздно вечером или даже ночью частенько видела, как ее подвозят к дому на роскошных машинах. Окна мои прямо над подъездом, бессонница давно стала неотъемлемой частью жизни, так что и не захотела бы – так увидела. Да и она сама от меня особенно не таилась.

Так уж вышло, что о своем первом «любовном» опыте – а было ей лет шестнадцать, – Верочка рассказала именно

мне: больше было некому, а выговориться хотелось. Собственно, любовь там была не при чем: любопытство и легкомыслие с ее стороны, плюс несколько бокалов шампанского. Было их в компании шестеро – три девочки и три мальчика. Как потом выяснилось, более опытные подружки просто решили «сделать Верку бабой», чтобы была – как все. И с интересом наблюдали за процессом со стороны, да еще советы давали...

Ни матери, ни, тем более, отцу Верочка ничего не сказала. Я утешала ее, как могла, говорила, что бывает хуже. Самого страшного, к счастью, не произошло: девочка ничем не заразилась и не забеременела. Но зато озлобилась. И мне как-то сказала:

– Теперь ни одному мужику не разрешу себя даже пальцем бесплатно коснуться. Пусть платят за удовольствие!

И программу эту стала воплощать с железной выдержкой. У нее появились дорогие вещи, украшения, она не нуждалась в деньгах и уже собиралась снимать квартиру: совместная жизнь с отцом становилась все кошмарнее. Тем более, что призванные в качестве арбитров старшие братцы, сами отнюдь не святые, дружно осудили сестру за «развратный образ жизни».

– Чья бы корова мычала... – прокомментировала мнение братьев Вера.

И вычеркнула их из своей жизни. Оставалось разъехаться с отцом, когда на Верочку точно с неба свалилось брачное

предложение Семена. Разумеется, она согласилась.

Все держали в строжайшем секрете не только от Ивана Ильича, но и от Семкиных родителей. В курсе была только я, да Лидия Эдуардовна, с которой Верочка все-таки посоветовалась. Советов «баронесса» давать не стала, сказала только, что Семен, по ее мнению, горячится. На что он ответил страстным монологом о Раскольникове, Сонечке Мармеладовой, Катюше Масловой и исторической роли российских интеллигентов-подвижников, после чего Лидия Эдуардовна махнула рукой и сказала:

– Мало тебя жизнь учила.

А дальше все пошло своим чередом и в один прекрасный день Семен с Верой явились домой рука об руку и объявили родным, что отныне они суть муж и жена, а посему Верочка едет вместе с ними.

Ревекка Яковлевна восприняла это на удивление спокойно. Значит, так ее Бог наказывает за строптивного сына. Впрочем, никакой неприязни лично к Верочке она не испытывала, будучи вообще человеком фантастической доброты. Моисей Семеновича мало что волновало. А вот когда новость сообщили Ивану Ильичу – произошел взрыв.

Дочь-шлюху старик еще как-то пережил, утешая себя тем, что и сыновья у него – не герои соцтруда. Но зять-еврей для него, потомственного, можно сказать, и убежденного анти-семита было уже чересчур. Да еще Верочка заявила, что ему нужно подписать бумагу – согласие на ее отъезд с семьей му-

жа в Израиль. То-есть в самое логово...

– Не дожدهшься, подстилка жидовская! – взревел старик. – Сдохну, никакой бумаги не подпишу! Сиди здесь, в дерьме...

И, нелепо дернувшись, вскрикнул и стал оседать на пол. Вызванная «Скорая» установила смерть от обширного инфаркта. Через два дня Ивана Ильича похоронили. Он до конца остался верен своим идеям: умер – не подписал.

А Френкели всем семейством, вместе с молодой невесткой, через какое-то время уехали. И по странному совпадению в ночь после их отъезда в их почти пустой комнате провалился пол. Проклятая квартира жила своей, только ей ведомой жизнью.

## Глава пятая. Перемены, перемены...

Возможно, для нормального человека наша квартира – не самое лучшее место для жизни. И я могу понять Ирку, которая задыхалась в этих стенах. Но для меня это был весь мир. А сто пятьдесят метров – это, согласитесь, значительно больше, чем, скажем, тридцать пять. Или даже пятьдесят.

К тому же я притерпелась. Научилась сносно пользоваться костылями, габариты квартиры позволяли почти везде проехать на коляске. И, главное, соседи. Все без исключения прекрасно относились ко мне, какие бы склоки ни происходили между ними.

Но постепенно квартира стала умирать. В буквальном и переносном смысле слова. Умерла баба Фрося, уехали Френкели, скончался Иван Ильич Сергеев. Приходили какие-то люди со смотровыми ордерами, но заселиться никто не спешил: в квартире остались две глубокие старухи, полумная и тоже очень пожилая женщина плюс я – инвалид в коляске. Состав «труппы», прямо скажем, не для слабонервных. Единственный полноценный человек – Ирина – домой приходила только ночевать.

Помимо потенциальных жильцов постоянно навевались какие-то странные личности. То нам предлагали расселиться на сверхвыгодных условиях, то написать дарственную на комнату в обмен на пожизненный уход, то совершен-

но официально предупреждали, что не сегодня-завтра дом пойдет на капитальный ремонт, а нас то ли временно, то ли навсегда переселят в коммуналки по соседству. Разобраться во всем этом не было никакой возможности, потому что и три наши старухи, и я одинаково плохо ориентировались в непрерывно менявшейся обстановке. Впрочем, как и большинство наших сограждан в то время.

С экрана телевизора преподносилось такое, за что еще не так давно могли «дать срок», причем вполне приличный. Поскольку у двух старух – Лидии Эдуардовны и Марии Степановны – давно вошло в привычку смотреть телевизор в моей комнате (одна своего не нажила, а вторая жалела денег), то я могла наблюдать за реакцией обеих. Мария Степановна постепенно доходила до белого каления и начинала ругательно ругать всех: и правых, и левых, и коммунистов, и беспартийных. Лидия Эдуардовна, похоже, получала какое-то мстительное удовольствие от того, что система, искорежившая столько жизней, в том числе и ее собственную, оказалась не такой уж несокрушимой. Я все больше помалкивала, однако надеялась на какие-то перемены к лучшему. Только никак не могла понять, каким образом эти перемены свершатся.

Ирина, которая телевизор в принципе не терпела, приговор свой относительно происходящего вынесла сразу: «Ерунда!» А когда я пристала за разъяснениями, только хмыкнула:

– Ты чудачка, Регина. Что может измениться в стране, где всегда признавали только одно – силу? К тому же перемены тебе сулят те же самые люди, которые совсем недавно разъясняли тебе же, что светлое будущее человечества – это коммунизм. А-а, какая разница! Мы с тобой вообще лишние на этом празднике жизни.

– Я – безусловно. Но ты-то почему?

– Потому, что моя мечта исполнилась. Сейчас поймешь. Когда-то я хотела, чтобы у меня было все, как у тебя. Завидовала. А Бог правду видит, сказала бы Лидия Эдуардовна. Теперь мы с тобой обе – сироты, и обе – калеки. Все поровну, все справедливо.

– Ты можешь вылечиться, – робко сказала я, подавленная Иркиным ожесточением. – Или взять ребеночка из детского дома и воспитать его...

– Теоретически ты тоже можешь вылечиться, – огрызнулась моя подруга. Можешь ходить на костылях, чем не ноги, только приемные?

Мы обе помолчали. Потом Ирина, уже явно остывая, добавила:

– Ни ты, ни я никогда не станем полноценными в этом обществе, где инвалиды и калеки не люди даже, а досадная помеха на пути к любому будущему, хоть к коммунистическому, хоть к капиталистическому.

– Две злюки-гадюки в одной квартире – не много ли? – попыталась я перевести разговор в шутку.

Ирина, однако, шутки не приняла.

– Какова квартира, таковы и жильцы. Да-да, я опять со своей навязчивой идеей – «проклятая квартира»!

– Далась тебе эта квартира! Хотя бы объяснила по-человечески, почему ты ее так ненавидишь? Ну, соседки с приветом – так ведь не алкоголики и не бандиты. Ну, ремонт нужен основательный – так давай хоть обои новые попросим кого-нибудь поклеить. На это у нас с тобой средств хватит. В чем дело?

– Это трудно объяснить, Регинка, просто до этого нужно дойти самой. Только не спрашивай меня больше, почему умерла твоя мама, а не наша «придворная сумасшедшая». И не сердись на меня. Иногда кажется, что все зря, никому ничего не нужно, и что закончу я свои дни в этой вот развалюхе... если она раньше не обвалится и не похоронит нас всех сразу.

– Это только если землетрясение будет, – уточнила я.

– Для того, чтобы рухнул один дом, совершенно необязательно устраивать такие катаклизмы, – на полном серьезе ответила Ирина.

К счастью, бабки, во-первых, довольно скоро пресытились политикой и приходили смотреть только выпуски новостей. А во-вторых, кто-то умный придумал показывать по нашему телевидению латиноамериканские телесериалы. Вот где начался цирк!

Старухи смотрели все подряд, приоткрыв от волнения

рот, а потом долго обсуждали на кухне содержание очередной серии и моральный облик героев. Первоначально и я заинтересовалась: другая, яркая жизнь, красивая сказка. Но когда этих сериалов стало по три штуки на день... Во-первых, у меня практически не выключался телевизор, а во-вторых, мне было некогда работать. К тому же все сериалы слились у меня в голове в какой-то невообразимый салат. Как в них разбирались старухи, ума не приложу. При их склерозе они могли забыть что угодно, включая и мое имя, но события на телеэкране помнили, как «Отче наш».

Ирина, гордившаяся тем, что не посмотрела ни единого кадра из этих сериалов, тем не менее поняла, что еще немного, и в нашей квартире будет не одна, а две патентованных сумасшедших. Как она это устроила, не знаю, но в один прекрасный день какие-то ее знакомые, собиравшиеся уезжать за границу, приволокли к нам в квартиру чудовищных размера и веса телевизор – цветной «Рубин» двадцатилетнего возраста. Для антикварного магазина он еще не годился, а в комиссионный его уже не брали. Выбрасывать, естественно, было жалко – в свое время деньги на него копили чуть ли не год.

Этого монстра установили в одной из пустующих комнат, и на нашу квартиру в кои-то веки снизошла благодать. Старухи перенесли свои «тусовки» из моей комнаты в «телевизионную», а я вздохнула с облегчением. Все это было тем более кстати, что Ирина нашла мне временную, но доволь-

но интересную работу: редактировать перевод текстов одного из этих самых сериалов.

– Понимаешь, в таком виде это никуда не годится. А дать переводить другому нельзя, потому что сейчас это делает одна дама, супруга очень-очень важного человека. Да, она не знает ни испанского, ни русского, но она Жена и ей скучно. В общем, эту «рыбу» нужно изложить нормальным и грамотным языком. Деньги за это платят не бог весть какие, но все же деньги.

Разумеется, я согласилась. Это было куда интереснее, чем занудные научные тексты, над которыми я трудилась много лет. Жаль только, что даме довольно быстро надоела ее игрушка, и переводы отдали специалисту.

Сериалы внесли в жизнь нашей квартиры еще одну неожиданную черту: выяснилось, что они оказывают прямо-таки магическое действие на Елену Николаевну. Она просиживала у телевизора часами, смотрела все по два раза: и утром, и вечером, и значительно реже устраивала «сеансы покаяния». По-моему, этой проблемой надо бы заняться психиатрам, особенно у нас, при постоянной нехватке лекарств и медицинского персонала в дурдомах.

К сожалению, они никак не действовали – в плане успокоения – на бабу Маню. Она чудила все больше и больше, причем специального повода для очередного припадка раздражения даже не требовалось. То разговаривала сама с собой на кухне, причем темой разговоров неизменно было рез-

кое падение нравов у современной молодежи. То пыталась устроить Ирке громкий скандал, поскольку та целые дни пропадает невесть где, да и ночевать домой не всегда приходит, а старухе-бабушке, которая ей жизнь посвятила, некому подать стакан воды. И так далее, и тому подобное.

В какой-то степени утихомирить ее могла только Лидия Эдуардовна, но и та не молодела. Посему предпочитала иной раз не выходить из комнаты и не трепать себе зря нервы. Тогда я выезжала, как танк, на своей коляске и начинала «отвлекать противника» на себя. Как правило, мне это удавалось: по каким-то одной ей ведомым причинам Мария Степановна, баба Маня, меня обижать не решалась. Даже голоса на меня ни разу не повысила, что бы я ей ни говорила. Родную внучку костерила в хвост и в гриву, а меня только жалела. Возможно, считала, что грех обижать убогую – Бог накажет. Как бы то ни было, мое вмешательство всегда оказывалось действенным.

К сожалению, иногда в наш чересчур замкнутый мирок вторгалась настоящая жизнь. И каждое такое вторжение было, мягко говоря, болезненным. Например, безумная «павловская» денежная реформа. Отлично помню тот зимний вечер, когда об этом мероприятии впервые официально заявили по телевизору. Меня лично все это никаким боком не затрагивало: больше двадцати пяти рублей одновременно я за свою работу не получала. А моя ежемесячная пенсия до пятидесяти рублей тоже не дотягивала. Но Мария Степа-

новна и Лидия Эдуардовна ударились в настоящую панику – первый раз в жизни. Оказывается, обе десятилетиями откладывали по рублику «похоронных», а для удобства хранения постепенно переводили их в крупные купюры. Кто забыл, напомним: самой крупной тогда была сторублевая бумажка – «грузинский рубль». У одной этих «рублей» было восемь, а у другой – целых десять.

На следующее утро обе помчались в сберкассау и вернулись через несколько часов в шоке: очередь собралась чуть ли не с вечера, и уже записывались на три дня вперед. Все арбатские старухи и немногочисленные уцелевшие старики вспомнили многолетний опыт очередей. Ирина опять исчезла на несколько дней, а я была бессильна помочь. Разве что валерианки накапать.

К счастью, этот кошмар продолжался всего сутки. Потом объявилась Ирка и прекратила панику. Сказала, что ни в каких очередях стоять не нужно: у нее в издательстве все сделают «чохом». Лидия Эдуардовна вздохнула с облегчением и тут же передала Ирине деньги. А родная бабка заявила:

– Морочь голову кому-нибудь другому. Ты все это придумала, чтобы присвоить мои деньги. Не выйдет, моя милая. Ни копейки ты не получишь даже после моей смерти. Я все завещаю Регине. При свидетелях говорю.

– Маша, – воскликнула Лидия Эдуардовна, – опомнись, что ты несешь? Кому нужны твои деньги? Да и что ты собираешься, как ты изволишь выражаться, «завещать»?

– Мебель. Одежду. Украшения, – отчеканила Мария Степановна.

Ирка за ее спиной покрутила пальцем у виска. В данном случае я с ней была совершенно солидарна:

– Баба Маня, о завещании мы поговорим отдельно, – начала я привычные маневры, – но зачем же деньгам пропадать? Вы их сначала обменяйте. А Ирина вам даст расписку, что получила такую-то сумму...

Мария Степановна продолжала стоять с поджатыми губами, но хотя бы не спорила.

– Значит, договорились, – поспешила я укрепиться на захваченных позициях. – Ирина обменяет деньги, а вы передадите их мне. Или, лучше, спрячете у себя до поры до времени.

– Регина права, Маша, – поддержала меня «баронесса». – Обменяют тебе деньги, а там делай, что хочешь. Хочешь – дари, хочешь – завещай, хочешь – в тайник закладывай.

– В нашей семье уже такое было, – вздохнула Мария Степановна. – Мамочка-покойница куда-то спрятала свои украшения, а нам сказать не успела. Уж мы с сестрой искали-искали... Ладно, если вы ручаетесь за то, что деньги не пропадут...

Я умоляюще взглянула на Ирину: не дай Бог, взовьется. Но она, похоже, думала совершенно о другом, причем скорее приятном. Во всяком случае, на бабкины фокусы она не обратила особого внимания. Почти машинально написала эту

филькину грамоту-расписку и ушла к себе в комнату. Мы тоже разбрелись по своим. Тем дело и кончилось. Через какое-то время Ирина принесла старухам их сбережения в новом типографском исполнении, и инцидент с деньгами безвозвратно канул в прошлое. Жизнь продолжалась.

Нет худа без добра: на фоне этого потрясения переломный для страны 1991 год для нашей квартиры прошел почти незамеченным. Политикой наши старухи давно уже не интересовались, я – тем более. А Ирина вообще интересовалась совсем другим.

К осени я заметила, что Ирка стала следить за своей внешностью и проявлять активный интерес к телефонным звонкам. И, что самое интересное, перестала выключать телевизор, как только переступала порог моей комнаты. Наоборот, кое-что внимательно смотрела: в основном передачи, от которых лично меня клонило в сон, – беседы с так называемыми «интересными людьми». Вывод можно было сделать только один, и я его сделала: у Ирины завелся поклонник, скорее всего, серьезный, который имеет какое-то отношение к телевидению. Дальнейшие события показали, что «метод дедукции» в данном случае сработал со стопроцентной точностью.

Но до того, как моя догадка подтвердилась, произошло еще одно событие из разряда тех, на которые была так богата наша квартира. Незадолго до Нового, 1992 года раздался звонок во входную дверь. Как всегда, когда она бывала дома,

Елена Николаевна с диким криком «Сыночек!» помчалась открывать. Несчастливая помешанная все ждала своего без вести пропавшего на войне сына. И от каждого нового разочарования становилась все менее нормальной.

Разумеется, это был не ее Костя. В квартиру вошел высокий, худой старик с массивной тростью в руках. Быстро отвязался от Елены Николаевны и обратился ко мне:

– Скажите, здесь жила Мария Степановна Лоскутова?

– Почему «жила», – поразила я. – Она здесь живет. Последняя дверь по коридору налево.

– Я помню, – усмехнулся странный посетитель. – А она как? В здравом уме? Или тоже, как эта?

Он кивнул вслед Елене Николаевне, семенившей к себе в комнату.

– Пока – да, – осторожно сказала я. – А вы по какому делу?

– По личному, – усмехнулся старик и пошел к бабе Маше. А я, выждав какое-то время, покатила следом. Подслушивать хотя и стыдно, но иногда просто необходимо.

– Честно говоря, Маша, я думал, что ты уже того... померла, – услышала я голос старика за дверью.

– Да и я тебя, Яков, считала покойником. Оба ошиблись. Зачем пожаловал?

– Кое-что из вещей забрать хочу. Понадобилось.

– Твои вещи остались после ареста в запечатанной комнате.

– А ты, умница, их забрала. Буфет сама передвигала или

кто помог? У меня там сверточек...

Тут в коридор вышла Лидия Эдуардовна и застала меня на «месте преступления». Но сделать выговор не успела.

– Ничего твоего здесь не осталось. Уходи.

– Возьму свое и уйду. Меня ведь по твоему доносу посадили. А доносчиков сейчас не жалуют...

Неожиданно для меня Лидия Эдуардовна распахнула дверь и вошла в комнату. Такой разгневанной я ее никогда не видела.

– Машенька, что здесь происходит? Чего от тебя хочет этот тип? Кто он вообще?

– Это отец Ольги, – прошептала Мария Степановна. – Он хочет забрать какой-то сверток из буфета.

– Через полвека? Опомнитесь, милейший. Я сейчас милицию вызову.

– Я тебе вызову, старая ведьма! – заорал старик и поднял свою палку.

Мария Степановна кинулась к нему, а я метнулась, если можно так сказать, к телефону и вызвала милицию. Отперла дверь на лестницу и стала звать на помощь. Из соседней пожарной охраны прибежали два солдата. Они поймали старика уже в коридоре и держали до прихода милиции. А Лидия Эдуардовна беспомощно хлопотала вокруг Марии Степановны, навзничь лежавшей на полу.

Старика увели, но баба Маша в себя так и не пришла, скончалась через несколько минут после приезда «скорой».

Нервное потрясение, удар палкой по голове, падение – в семьдесят восемь лет этого более чем достаточно.

– Я же говорю: проклятая квартира! – сказала Ирина, вернувшись вечером домой. – Новое дело: чуть ли не с того света за какими-то свертками из буфета приходят. Только тайника в этом гробу и не хватало. Что еще за фокусы, черт побери?

Я только пожала плечами.

## Глава шестая. Герой нашего времени

– Проклятая квартира! – повторила Ирина и повернулась к своему спутнику, все время державшемуся в стороне. – Раз в жизни собралась пригласить к себе гостя, прекрасно зная, что после десяти вечера здесь всегда сонное царство, – и вот вам, пожалуйста. Очередной труп, остальные – в экстазе.

– Ира, прекрати! – одернула ее Лидия Эдуардовна. – Твоя бабушка погибла, а ты говоришь такое, да еще при посторонних. Кстати, ты нас не познакомила...

– Ах, ну да, конечно! Цинизм здесь неуместен, необходимо проявить подобающую скорбь и не забывать о хороших манерах. Лидия Эдуардовна, позвольте представить вам Никиту Сергеевича Трубникова. Никита Сергеевич, это – ее сительство баронесса фон Кнорре. Регина, позволь тебя познакомить... Да ну вас, в самом деле! Мне только интересно, кто следующий?

Неожиданно вмешался Никита Сергеевич, мужчина лет сорока пяти, относящийся к тому типу, который обычно называют «представительный». Или «вальяжный».

– Насколько я понял ситуацию – следующим может быть кто угодно. То есть любой, кто встанет между этим загадочным старцем и буфетом.

– Старика милиция увела, – робко заметила я.

В отличие от Ирины я видела, как убили бабу Машу, и ме-

ня все еще была дрожь.

– Он вернется, – уверенно сказал Никита. – И вернется скоро, потому что предложит властям долю от того, что находится в буфете. Они посчитают его ненормальным, но все-таки проверят. И если ничего не найдут – упекут всерьез и надолго, а если найдут, то отберут все, а он явится сюда выяснять отношения со всеми вами. Таков примерный сценарий.

– Вы из органов? – спросила Лидия Эдуардовна.

Никита неопределенно хмыкнул:

– В данном случае это неважно. Считайте, что я – журналист. Тележурналист. А сейчас покажите мне этот самый буфет.

Произведение мебельного дизайна прошлого века было сделано из красного дерева и занимало едва ли не четверть комнаты и без того забитой. Двухспальная кровать черного дерева, комод, два резных кресла и несметное количество всевозможных старинных и старых вещей. Единственной современной вещью была кушетка за ширмой, на которой спала Ирина, пока жила с бабушкой.

– Н-да, – крикнул Никита. – Лавка древностей. Для любителя – просто находка, но милиция, слава Богу, пока в таких тонкостях не разбирается. Так что посмотрим буфетик изнутри...

Никита возился полчаса, предварительно попросив у Ирины какой-нибудь тонкий и острый нож. И наконец с возгласом «Эврика!» поддел какую-то балясину, украшав-

шую верхнее отделение, и достал оттуда небольшой, с папиросную коробку, туго перевязанный пакет.

– Прошу вас, сударыня, – протянул он его с полупоклоном Лидии Эдуардовне. – Если сочтете нужным, разверните.

Та слегка пожала плечами и принялась разматывать бечевку, стягивавшую сверточек. Под пожелтевшей и пропылившейся бумагой находилась еще более старая папиросная коробка явно дореволюционного происхождения. А в этой небольшой жестянке лежали... драгоценности: три золотых кольца – два обручальных и одно с небольшим блестящим камешком, нитка жемчуга и сережки, судя по всему – бриллиантовые.

– Господи, что это? – ахнула Ирина.

– Скорее всего, драгоценности семьи Лоскутовых, те самые, которые старуха-профессорша спрятала от обыска да не успела сказать дочерям – куда. Эту историю я знаю и от Фроси, и от Маши, царствие им обеим небесное. А этот тип, значит, нашел. Но не успел или не сумел сбыть – его арестовали...

– Прямо роман! – восхитился Никита. – Только давайте вот что сделаем сначала...

Он открыл верхний ящик комода, вынул оттуда какие-то дешевые побрякушки и сложил в коробку из-под папирос. А потом чрезвычайно ловко запаковал сверток так, как было. И положил его на прежнее место – в тайник. Мы с недоумением смотрели на него.

– А теперь быстро уходим отсюда. Хоть на кухню. Если верить моей интуиции, гости могут пожаловать с минуты на минуту.

– А драгоценности куда же? Они способны обыскать всю квартиру, – обеспокоилась Лидия Эдуардовна.

– Вряд ли, – усомнился Никита. – Времена не те... Однако... Береженого, как говорится, и Бог бережет. Пусть кто-нибудь из дам спрячет пока в... то-есть, пардон, за корсаж! Туда-то уж точно не полезут.

Лидия Эдуардовна так и поступила. Но потом почему-то раздумала и передала маленький сверток мне:

– Спрячь ты, деточка, ты помоложе и в эту стародавнюю историю никаким боком не замешана.

Ирина наблюдала за происходящим с какой-то неприязнью. Не без определенного, правда, интереса.

– И только подумать, что именно эту квартиру описывал Булгаков!

– Где? – встрепнулся Никита.

– В «Собачем сердце». Ну, пойдем наконец ко мне! Я устала, а тут еще эти вечные детективы...

– Почему вечные? – не унимался Никита, но Ирина не ответила и пошла по коридору к себе. Никите ничего не оставалось, как сделать общий полупоклон и отправиться вслед за нею.

Пришли через два дня, но не с обыском, а как бы для беседы, – двое в штатском с соответствующими удостоверения-

ми. Дома были только мы с Лидией Эдуардовной. Вежливые до приторности мужчины объяснили, что «поступило заявление» от находящегося в данный момент под стражей гражданина Пименова о том, что он желает сдать государству ценности, оставленные им в данной квартире. Тайник он указал, так что...

Лидия Эдуардовна только покачала головой:

– По-видимому, он, если и жил здесь, то до войны. Я в этой квартире с 1941 года. А покойная хозяйка той комнаты, где стоит буфет, всю жизнь прожила в бедности, так что, скорее всего старик по старости лет несет ахинею. Впрочем, проверяйте, господа, работа ваша такая.

«Господа» проверили. Тайник открыли мгновенно, распаковали сверточек и явно огорчились. То, что им, судя по всему, описывалось как «драгоценности», оказалось дешевой бижутерией, да еще чуть ли не полувековой давности.

– Я же говорил – врет, – вполголоса заметил один из визитеров.

– Проверить все равно надо было, – так же вполголоса отозвался другой. – В этих дореволюционных домах то и дело сокровища находят...

Вечером Ирина снова пришла с Никитой. Выслушав наш рассказ, он необыкновенно воодушевился.

– Вот и все, теперь вас никто не тронет. Живите спокойно, милые дамы. А чтобы вас и в дальнейшем ничто не тревожило, хочу сообщить: сегодня я сделал предложение Ире,

и мы с ней теперь – жених и невеста. Надеюсь, вы разрешите мне переехать сюда до свадьбы. А то прописка есть, квартира есть, а жить негде.

Возражений, разумеется, не было, поздравлений же посыпалось множество. Но они быстро прекратились: Елена Николаевна, последнюю неделю переживавшая «тихий период» и безвылазно сидевшая в своей комнате, вдруг распахнула дверь и с воплем «Костенька!» кинулась к ошеломленному Никите.

– Я не Костя, вы обознались, – попытался он освободиться из цепких объятий. – Я вообще только родился в тот год, когда ваш сын пропал без вести...

Но безумная женщина его явно не слышала. Она обнимала Никиту, гладила его по голове, плакала, шептала какие-то молитвы. И наконец обессиленная сползла на пол в глубоком обмороке.

– Надо бы «скорую» вызвать, – отдышавшись, сказал Никита. – Похоже, Ира, ты верно оценила свою квартиру. Скучно здесь во всяком случае не будет!

На следующее утро Елена Николаевна подкараулила несчастного Никиту в коридоре, затащила к себе в комнату и там довольно громким шепотом сообщила, что все поняла. Конечно, нельзя было возвращаться на Родину под своим именем: НКВД тут же обнаружило бы его и отправило в застенки. Она мать, она понимает, что он вернулся, несмотря на смертельную опасность, только чтобы увидеться с нею.

Для этого он и придумал жениться на соседке. Умно, никто ничего не заподозрит. Она, Елена Николаевна, никому ничего не скажет, ей только видеть его и знать, что он жив-здоров. И еще – она за эти годы скопила для него немножко денег, пусть возьмет. На свадьбу понадобится да и вообще... А она теперь может спокойно умереть, наглядевшись на своего любимого сыночка.

Финал разговора оказался вообще потрясающим. Елена Николаевна полезла под кровать и выползла оттуда с каким-то газетным свертком. Уже в своей комнате окончательно обалдевший Никита развернул бумагу и увидел... пачку денег. Пятьдесят тысяч, как выяснилось, причем дореформенных, имевших хождение в стране с 1947 по 1961 годы.

Ирина была просто в шоке. Если до сих пор в общем-то совершенно безобидная сумасшедшая начнет откалывать такие номера, то на семейной и личной жизни можно поставить большой и красивый крест. Ни один нормальный мужчина не выдержит такого «приданого» и, разумеется, сбежит.

– Понимаешь, – шепотом жаловалась она, сидя как-то вечером у меня в комнате, – Никита вообще человек непредсказуемый. Он может сорваться в командировку, о которой еще два часа тому назад и речи не было, и пропасть на неделю, а то и две. А может сутками сидеть над каким-нибудь сценарием или статьей, и тут его лучше не отвлекать и вообще не мешать ему. В личной жизни – полная неразбериха:

от первой жены он ушел давно, но развелся только что. Там остался сын, второй сын у него от женщины, которая замужем за другим. Квартиру он оставил первой жене, прописан у матери, ждет свою квартиру. И еще – только это, Регинка, никому – он только формально работает на телевидении, а фактически он – контрразведчик. Подполковник. Поэтому с отпусками всегда безумные сложности: то там не отпускают, то здесь отпуска не дают.

– Семейная жизнь у тебя, похоже, будет интересная, – хмыкнула я. – Ты просто какой-то специалист по незаурядным личностям. А попроще тебя не устраивает?

– Где же на всех простых взять, нужно кому-то и со сложными жить, – отшутилась Ирина. – Зато он прекрасно чувствует живопись, вообще хорошо разбирается в искусстве. А главное – я его люблю.

– А он тебя?

– А он мне в любви признался при первой встрече.

– Прямо подошел к тебе на улице и сказал: «Девушка, я вас люблю. Как вас зовут, кстати?». Да?

– Не язви. Мы познакомилась в мастерской у моей приятельницы – скульптора. Она – ученица Эрнста Неизвестного, феноменальной красоты женщина. Настоящая персидская княжна. И, по-моему, к Никите неровно дышит. А он весь вечер от меня не отходил, потом пошел провожать и у самых дверей сказал: «Я вас люблю»...

– И прослезился...

– Да что ты сегодня такая злая? Он тебе не нравится?

– Может, потому и злая, что немного нравится. Не сердись, Ирка. Просто иногда обидно, что меня никто не пойдет провожать и никто не скажет, что любит. Даже не при первой, а при сто первой встрече. Зависть это, подруга, зависть. И не к тебе, а к здоровым людям.

– Я понимаю, – тихо сказала Ирина. – Я иногда тоже это чувствую, когда вижу женщин с детьми...

Однако при всей непредсказуемости и таинственности Никита, похоже, не собирался бежать из «странной квартиры». Наоборот, начал обустраиваться в ней всерьез. Несмотря на ожесточенные протесты будущей жены перетащил в ее комнату практически всю обстановку из комнаты покойной Марии Степановны, а перед этим сделал там косметический ремонт. То есть не сам, конечно, а нанял двух мастеров, которые за несколько дней превратили огромную, запущенную комнату во вполне приличное жилье. Перевез откуда-то несколько ящиков книг. И наконец повесил на стену картину – черно-белый печальный Арлекин, – про которую небрежно сказал:

– Малоизвестный художник, но талантливый. И создает настроение...

Потихоньку решил вопрос и с найденными драгоценностями. Их поделили не столько по справедливости, сколько по соображениям практичности. Обручальные кольца – жене и невесте, жемчужное ожерелье – тоже Ирине, как «кол-

лективный подарок соседок» на свадьбу. Колечко с бриллиантом – мне, а серьги – Лидии Эдуардовне, несмотря на ее протесты.

– Нужда заставит, не дай Бог, будет на что прожить, – сказал Никита, закрывая «дискуссии». Надо что-то иметь про запас на черный день.

– На черный день у меня есть колечко с изумрудом, – неожиданно для себя самой сказала Лидия Эдуардовна.

И рассказала, как ранним октябрьским утром сорок первого года, возвращаясь с Лубянки после чудесного избавления от ареста, нашла на Тверском бульваре колечко и посчитала это счастливым предзнаменованием. И как потом обнаружила вместо дома, где жила, – руины от бомбежки...

– А моя мама потеряла колечко в октябре этого же года, – задумчиво сказал Никита, выслушав рассказ «княжны». – А где, как – сама не помнит. Ночь, спешила в бомбоубежище, я у нее на руках, годовалый...

– А где вы тогда жили?

– На углу Качалова и Алексея Толстого, такой дом-утюг.

– А вдруг это ее?!

– Маловероятно, – пожал плечами Никита. – Я в такие совпадения не очень-то верю.

– А вы спросите ее, как кольцо выглядело.

– Да она уж, наверное, и не помнит. Золотое кольцо, скорее тонкое, с небольшим изумрудиком.

– Так покажите ей как-нибудь. Вы же часто у нее бываете.

– Реже, чем хотелось бы, но... Да и зачем, собственно? Она уже давно привыкла, что кольца нет, вы – что кольцо у вас есть.

– Да ведь я его так ни разу и не надела. И меня всю жизнь мучила мысль, что для кого-то это кольцо очень дорого. А на черный день теперь вот – серьги. Кстати, без вас, Никита, мы бы ничего не нашли...

– Ну, хорошо, – сдался Никита, – давайте попробуем. Но я почти уверен, что это – не ее.

Однако он ошибся. Несколько дней спустя его мать позвонила и долго благодарила Лидию Эдуардовну за то, что та вернула ей свадебный подарок мужа, единственную по сути память о нем. Отец Никиты погиб в сорок третьем году на войне, и она так и осталась вдовой: достойнее его никого потом не нашла.

– Только я вас попрошу, Лидия Эдуардовна, не говорите об этом Ирине. Женщины – странный народ, она может обидеться, что старухе отдают кольцо, отобранное вроде бы у другой старухи... ой, извините! Ну, в общем, невестка – свекровь, сами понимаете...

Свадьбу Никита с Ириной справили очень скромную – только свидетели и несколько друзей. Накануне этого события Елена Николаевна вручила «Костеньке» очередной сверток – на сей раз облигации денежных займов, скопившиеся у нее за тридцать лет. Но, кроме этих «наскоков», она, в общем-то, держала свое обещание и не нарушала «конспира-

ции».

Через месяц после свадьбы Ирине пришлось срочно уехать – в Ленинграде ей предложили проиллюстрировать одну книгу. А через несколько дней после ее отъезда мы с Лидией Эдуардовной забеспокоились: Елена Николаевна перестала выходить из своей комнаты. Н-да, квартирка наша «шалила»: безумная женщина покончила с собой, по-видимому, почти сразу после отъезда Ирины. Никита тоже отсутствовал – проводил жену и сам уехал в срочную командировку.

Было у меня смутное подозрение, что в какую-то из минувших ночей я слышала странные звуки и шорохи из комнаты соседки. И еще мне мерещилось, что кто-то той ночью приходил в квартиру, а потом неслышно вышел из нее. Мою разыгравшуюся фантазию, однако, охладило твердое заявление следователя, что Елена Николаевна безусловно собственноручно свела счеты с жизнью – следов насилия не было ни малейших. По-видимому, произошло это в очередном припадке безумия, а поводом могло послужить что угодно – хоть отъезд мнимого сына в командировку.

Узнав по возвращении новость, Ирина не побледнела – посерела. Заглохшая было ненависть к «нехорошей квартире» вспыхнула в ней с новой силой. Никита кое-как успокоил ее, твердо обещав: как только он получает квартиру, они немедленно переезжают туда, а потом меняют ее комнату и его квартиру на что-то приличное.

Похоже, не только Ирина считала квартиру «нехорошей». Шло время, а желающих поселиться в квартире все не находилось. Комната Френкелей стояла пустой из-за провалившегося пола. Пустую комнату Сергеевых, а заодно и кухню с чуланом залило при очередной аварии системы отопления. Казалось, сам дом не желал новых жильцов, избавившись от старых.

## Глава седьмая. Раз детектив, два детектив

Конечно, с появлением у нас в квартире Никиты жить стало если не лучше, то уж, по крайней мере, веселее. Все-таки жилище наше теперь чуть меньше походило на склеп или на филиал психбольницы. Но ведь сказано же где-то: погибнет человек от разума своего. Или, точнее: «Умножая мудрость свою, умножает человек печаль в сердце своем».

Ко всему прочему, с легкой руки того же Никиты я приистрастилась к детективам. Он же сам мне их и приносил: прочтет – и отдает. А читал он, в основном, именно детективы, причем в невероятных количествах. Где только доставал. И в какой-то момент у меня, наверное, количество перешло в качество: я вдруг поняла, что все рассказы Никиты о его собственной жизни – это капля факта, щедро разбавленная талантливо сваренным компотом из нескольких историй. Написанных и опубликованных разными людьми и в разное время.

А собственная жизнь Никиты получалась – в его изложении! – чрезвычайно яркой, интересной и насыщенной невероятным количеством приключений. Со стрельбой, драками, гонками на машинах и роковыми красавицами, желавшими во что бы то ни стало заманить его в свои сети. Брачные, разумеется. Но, насколько я могла судить, удалось это

пока только двум: его первой жене, которая, судя по рассказам, красотой отнюдь не ослепляла, и Ирине – женщине, безусловно, интересной, но даже в моих пристрастных глазах подруги детства – не красавицы.

Но о личной жизни Никиты чуть позже, тем более что я потом невольно оказалась в самом центре ее событий. А детективы произвели на меня еще и вот какое воздействие: я стала подмечать загадочное и странное едва ли не во всем. В том числе и в поступках моих соседей. А в первую очередь задумалась над одним совпадением: через какое-то время после самоубийства Елены Николаевны было объявлено о погашении всех облигаций внутреннего займа чуть ли не до прошлого года включительно. И получилось так, что за кипу казавшихся бросовыми бумажек Никита получил в общей сложности около трех тысяч рублей. Что в ценах 1990 года было значительной суммой.

О чем сам же Никита с милой непосредственностью всем и доложил. Лидия Эдуардовна чужие деньги считать не любила, поэтому отнеслась к сообщению равнодушно. Ирка обрадовалась – денег вечно не хватало. А я задумалась.

Показалось мне или действительно так было, что в ночь, когда произошла трагедия, Елена Николаевна была в своей комнате не одна? Кто-то, похоже, приходил к ней, причем знакомый. Чужих она боялась панически. А с этим «кем-то» чуть слышно шепталась, вроде бы передвигала какие-то вещи, но провожать не вышла. Конечно, мне все могло и почу-

дится: стена между нашими комнатами была хоть и треснувшая, но все-таки капитальная. Хотя... слух у меня за годы вынужденного сидения взаперти стал, как у кошки. Или как у тюремного заключенного: слышу все шорохи, а уж в бессонницу – тем более.

Масла в огонь нечаянно подлила Лидия Эдуардовна, которая как-то сказала мне, когда мы вместе пили чай:

– Не пойму я Никиту Сергеевича. Солидный человек, дает понять, что работает в секретном учреждении. А по мелочам – врет. Я тут увидела у него портсигар – не из дорогих, но и не безвкусица: карельской березы с инкрустацией. И уголок один со щербинкой.

– Купил у кого-нибудь? – предположила я, опасаясь снова заняться «сбором улик».

– Да нет. Это портсигар мужа Лены Шацкой, единственная его вещь, которая у нее сохранилась. Она же после ареста отеклась от него, все продала или выбросила. А портсигар сохранился. Потом, когда она уже совсем не в себе была, она с этой деревяшкой разговаривала, как с живым существом, Витей называла. То есть именем мужа...

– Наверное, она его Никите подарила.

– То-то и оно, что он мне сказал: «Фамильная вещица, еще моему деду принадлежала». Врет. А зачем?

Действительно – зачем? Тем более что я своими ушами слышала, что ни дед, ни отец Никиты не пили и не курили, а он вот – неизвестно в кого пошел. Зачем некурящему –

портсигар? И почему не признаться, что никакая это не фамильная вещица, а очередной подарок покойной Елены Николаевны?

Кстати, в ее комнате Никита устроил себе что-то вроде кабинета, где проводил «деловые встречи» и иногда работал. Ирка по-прежнему трудилась в издательстве и приходила домой только к вечеру. А на деловых встречах очень мало говорили о делах в моем понимании. Все больше «сделать», «толкнуть», «наварить», «дать на лапу». О трещине в стене между комнатами никто, кроме меня, не знал, поэтому разговоры велись в полный голос.

Впрочем, я не совсем справедлива к Никите. Благодаря ему у меня появились две вещи, очень украсившие жизнь: телефонный аппарат в комнате и импортная инвалидная коляска – очень легкая, с почти бесшумным ходом и умеющая чуть ли не подниматься по лестнице. Этого я пока не пробовала – страшно было.

Продуктами меня теперь снабжал Никита и делал это, что называется, «по первому классу». Правда, не за мои прекрасные глаза и не из сострадания, а за то, что выполняла обязанности его секретаря. В основном, на телефоне, но иногда приходилось перепечатывать кое-какие бумаги. Довольно, кстати, скучные. Договор, субдоговор, протокол о намерениях и всякая прочая абракадабра, вошедшая в нашу жизнь вместе с перестройкой и рыночными отношениями. Меня, правда, эти рыночные отношения мало касались. Раз-

ве что в случае с коляской.

Как мне объяснили, такую коляску у нас раньше купить было абсолютно нереально. Стоила она дорого, но дело было даже не в этом, а в том, что уж если они к нам и попадали, то только по спецзаказам. И распределялись строго среди своих, привилегированных убогих. Инвалиду местного масштаба, вроде меня, не светило абсолютно ничего.

А рынок есть рынок. Никита взял у меня кольцо с бриллиантом, которое мне досталось «по наследству» от Марии Степановны, а спустя какое-то время притащил коляску. Одно продал, другое купил. И спасибо ему огромное, и нечего придирааться к странностям поведения. У каждого барона свои фантазии.

Вон Лидию Эдуардовну почти силком заставил переселиться из ее клетушки в бывшую комнату Лоскутовых. И мебель туда собрал – все приличное, что еще оставалось в квартире. Так что в нашем житье-бытье стали появляться какие-то даже черточки семейного уклада. Во всяком случае это мало походило на обычную коммуналку.

В освободившейся же комнатенке устроили «телефонную». Поставили туда столик, кресло и пепельницу. Закрой дверь и болтай, сколько угодно, никому никто не мешает. Удобно! С моим же аппаратом получилась некоторая накладка.

То есть работал он вполне нормально. Но если я, например, поднимала трубку в своей комнате, а Никита, Ира или

Лидия Эдуардовна подходили говорить в «телефонную», то я слышала все от слова до слова. При том что трубка у меня уже была положена. Такой вот странный телефон-репродуктор. Но об этом я не сказала никому. По целому ряду причин. Главная же была – нежелание огорчать Ирку.

Дело в том, что Никите звонило множество людей. В основном, женщины. Большая часть разговоров была невинно-деловая. Однако некоторые... То, что отвечал Никита своему абоненту, не всегда соответствовало тому, что говорил этот самый абонент.

Например, вечером приятный женский голос просит Никиту Сергеевича. Он подходит, я «отключаюсь». И слышу:

– Ника, «мой» уехал до утра, я свободна. Приедешь?

– К сожалению, мой друг, завален работой, сижу сейчас с автором, и сидеть нам не меньше трех суток. Так что с вашим предложением придется подождать до более удобного случая.

– Но Ника, ты же обещал...

– К сожалению, обстоятельства успели перемениться. Я вам позвоню, когда что-то прояснится.

Никакой автор у Никиты не сидит, я точно знаю. Он валяется на диване, читает газеты и поддерживает видимость разговора с Ирккой. Минут через пятнадцать – еще один звонок, еще один приятный женский голос:

– Никита, я могла бы освободиться через полчаса...

– Да? Ну что ж, примерно этого я и ждал. Встретимся...

– У меня есть ключи от квартиры брата.

– Встретимся там через час.

После его ухода Ира заходила ко мне и жаловалась:

– И опять, наверное, на всю ночь. Ну что за проклятая работа! Собирались вечер провести спокойно, вдвоем – опять эти его агенты. Зла не хватает, ей-богу! Скорей бы уж в отставку уходил.

– Да уж... – неопределенно мямлила я. – Работа... Но ведь кому-то надо...

– Он просто безотказный, поэтому на него все и валят!

– Ну, не расстраивайся. Работает ведь человек, а не щедедры творит...

В общем, было довольно противно. И вмешиваться я не имела права: подруга любила своего мужа совершенно слепо. Доставала лекарства для его матери, выслушивала бесконечные жалобы по телефону от первой жены, как тяжело одной воспитывать сына, ходила на цыпочках, если супруг работал за письменным столом или спал после утомительных контактов с «агентами». Открыть ей глаза? Сама не маленькая, поймет когда-нибудь.

Да и потом, положение у меня было дурацкое. Помимо своей воли, я оказалась как бы сообщницей Никиты. Уходя из дома днем, он давал мне детальные инструкции, кому, что и как отвечать по телефону. Если позвонит такая-то, сказать, что уехал на месяц в командировку. Снимать восстановление Армении после землетрясения. Если позвонит

такой-то, то попросить перезвонить через неделю, потому что еще не все готово. Маме сказать, что монтирует передачу и сам позвонит, когда освободится. А если позвонит закадычный друг Слава, то дать такой-то номер телефона. Но больше – никому.

Этот самый Слава был, кстати, совершенно непохож на своего дружка. В отличие от Никиты, всегда несколько излишне эмоционального (чтобы не сказать – суетливого), Слава был замедленно-спокоен и немногословен. О себе говорить не любил. Как-то в ожидании Иры и Никиты он просидел у меня в комнате около часа. И очень мне понравился. От него исходило обаяние мужественности. Не накачанных бицепсов или физической притягательности, а чувство, так сказать, защиты и опоры. Каменной стены, за которую с восторгом спрячется любая женщина. Но говорили, в общем, ни о чем. О погоде, о политике, о детективах. Ничего личного.

Потом Слава стал приходить чаще. Иногда даже в отсутствие Никиты. Не ко мне, разумеется, – к Ирине. Помогал делать какие-то мелочи по дому: укрепить полку, починить протекающий кран в кухне, заменить перегоревшие пробки. Никита в этом плане был пустое место. Ни гвоздя забить, ни чашку склеить.

– Вот бы тебе какого мужа надо! – не удержалась я как-то. – Хозяйственный, спокойный, по командировкам не мотается, с агентами не контактирует. И собою хорош.

– Может, и надо было бы, да не будет. Слава женат, у него

сын, а слово «развод» в лексикон не входит. Нет для него такого понятия.

– Почему же он никогда с женой не приходит?

– Она была дружна с первой женой Никиты и меня принимать не желает. В общем, женская солидарность. И еще страх, что дурные примеры заразительны.

– Судя по тому, как часто Слава у вас бывает и сколько времени тут проводит, домой он не торопится.

– Никита говорит, у них все не так гладко.

– А что говорит Слава?

– Слава вообще ничего о себе не говорит. И о Никите тоже. Когда я попыталась спросить о какой-то ерунде, просто хотела понять причину некоторых поступков, он мне ничего не сказал. А ведь они дружат больше сорока лет. В одном роддоме родились в один и тот же месяц, в одном доме жили после войны, в эвакуации вместе были – не они, конечно, а их матери, – с августа сорок первого и до сорок третьего...

– Никита никогда не говорил, что был в эвакуации, – медленно проговорила я. Что-то мешало мне просто пропустить эту информацию.

– Да его же туда годовалым увезли, что он может помнить? И тут я вспомнила:

«А моя мама потеряла колечко в октябре этого же года... Ночь, спешила в бомбоубежище, я у нее на руках годовалый...» Как могла мать Никиты потерять в октябре колечко в центре Москвы, если уже в конце августа эвакуировалась

на Урал, в Златоуст? И эта просьба – не говорить Ире... Я затрясла головой.

– Что с тобой? – удивилась моя подруга

– Нервный тик, не обращай внимания. Квартиру твоему супругу все еще обещают?

– А вот и нет, – рассмеялась Ирина. – Самое позднее через полгода переедем. Стены уже стоят. Однокомнатная прелесть, двенадцатый этаж башни, до Останкино – рукой подать. Поживем там, пока не найдем хороший вариант обмена. Господи, как я мечтаю вырваться из этой развалюхи!

И я оставила все невысказанное при себе. Не так много радости было в жизни Ирки, чтобы обращать ее внимание на какие-то несуразности в поведении супруга и лишать мечты всей жизни.

В конце года случилось сразу два события, причем оба радостные. Что для нашей квартиры нехарактерно. Во-первых, Никита действительно получил ордер на квартиру. А во-вторых, годовщина их свадьбы совпала с его юбилеем: полтинник. Оба события предполагалось отметить с размахом и одновременно.

И меня, и Лидию Эдуардовну тоже пригласили. Однако моя радость была омрачена в общем-то пустяком. Когда почти все гости уже собрались, но еще не расселись, я услышала, как Никита тихонько сказал одному из приятелей:

– А вон там моя дальняя родственница, баронесса фон Кнорре. Настоящая, а не самозваная. Квартира большая –

пусть живет, а то ведь совсем одинокая старуха...

«Мама дорогая! – мысленно ахнула я, – да он просто пиздон! Он себя придумывает и потом убеждает остальных. Показушник...»

Слава, как всегда, пришел один. И не столько сидел за столом, сколько помогал Ирке на кухне. И потом, когда гости разошлись, помог убрать и вымыть посуду, навести порядок в комнатах. Ночевать домой вообще не пошел, ему постелили в «кабинете». Ничего себе, семейная жизнь!

А неделю спустя Ирка пришла ко мне среди ночи с совершенно перевернутым лицом и сказала, что они разводятся. Долго не хотела говорить, почему, но потом разрыдалась и призналась:

– Не могу я больше жить в этом вранье! Уехал на три дня «в командировку», а мне коллега говорит: «Видела твоего драгоценного в нашем доме: шел под ручку с одной актриской, этажом ниже живет». Он «вернулся», я, конечно, спросила: правда? Вертелся, крутился, потом, наверное, надоело, сказал: да, правда. Я и раньше догадывалась... Ну, я сказала: «Уезжай к себе, квартира есть». А он, а он...

У Ирины началась истерика. Я кое-как привела ее в чувство и узнала то, о чем могла бы догадаться. Потому что и так много знала.

Никита сказал, что никуда из этой квартиры уезжать не собирается. Что если Ире приспичило разводиться и разбегаться – пусть едет в эту панельную хрущобу и живет там.

А он, Никита, с места не сдвинется. Он и женился на ней по двум причинам: знал, что не будет хлопот с детьми и родственниками и что жить будет в центре, в настоящей квартире, а не собачьей конуре. Со временем здесь все его будет, ходы он уже ищет. И вообще у него нет денег на такие причуды, как переезды и покупка современной мебели. Пусть продаст жемчужное ожерелье, все равно, считай, краденое, на все хватит и еще на жизнь останется. С покупателем он поможет. А менять образ жизни не собирается: одной женщины ему мало, и он еще не старик. Впрочем, если Ира передумает, он не против: будут жить, как жили, а свою квартиру он отдаст сыну – мальчик уже подросток.

– Нет, я решила – уеду. Я ведь уже даже не жена – так, обслуга. Забыла, когда у нас последний раз что-то было. Он же так устает! И про контрразведку все наврал, «полковник». Он и в армии-то никогда не служил, здоровье не позволило. А когда я ему и это сказала, он мне очень спокойно заявил: «Не переношу истеричек. Одна мне уже пыталась испортить жизнь – не вышло. Да-да, я вашу Елену Прекрасную убедил в том, что она должна покончить с собой, если не хочет, чтобы меня арестовали и расстреляли. Она послушалась, как миленькая. И не смотри на меня так: меня в это время в Москве не было. Официально. И нет ни следов, ни свидетелей».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.